

Ян Калинчак

КНЯЗЬ
ЛИПТОВСКИЙ

Исторический роман

Москва
2009

I

На левом берегу Вага стоит Ружомберок, городок хотя и небольшой, но другой такой же не вдруг-то сыщется, во всяком случае, в Липтове. В этом вот городке у самого Вага стоит старый деревянный трактир, у которого разве что на лбу не написано, сколько ему лет, и хотя покосился он на сторону, словно пьяный, а гонт на крыше там и сям заменен корой, это, как в бумагах черным по белому записано, земанское владение. Впрочем, из-за того, что корчма так плохо выглядит, никому и в голову не приходит обходить ее стороной. Захаживают в корчму и бедные люди – крестьяне, нищие, и господа – как высокого земанского рода, так и те, что имеют всего лишь полторы мерицы под посевами. Ходят сюда и честные люди, и разбойники, и трезвые, и пьяные, и Бог его знает, какого люда тут только не перебивало.

Народу в корчме и сейчас больше, чем семян в маковой коробочке.

Пан Ян Корвин, сын короля Матиаша, впервые пожаловал в Липтов с тех пор, как Липтов стал его княжеством; по этому поводу собралось в Ликаве множество дворян его приветствовать, в том числе и из других столиц, множество крестьян пришло к нему с просьбами, жалобами и прочими нуждами. Он еще только прибыл в Липтов, а люди словно пчелы уже окружили Ликаву; одни подходили, другие уходили. Многие из них дошли уже до Ружомберока, и тут припустил такой дождь, что вода лилась, словно из ведра. Но мокрым никто в Ликаву не пойдет, доломаны надо почистить, сабли повытереть и галстуки поправить, чтобы все это красиво выглядело. Крестьяне тоже остановились со всяческими привезенными в Ликаву вещами; цыгане с музыкой также дальше идти сегодня уже не захотели, и милая потрепанная ружомберокская корчма словно помолодела от обилия гостей. Корчмарь будто на углях сидел и так улыбался, словно уже сегодня должен пожаловать в рай или в царствие небесное; а у корчмарки глаза так блестели, словно две звезды на небе, поскольку знатные господа на нее взгляды бросали, лестные слова произнося и по бородке себя поглаживая.

Во всяком случае, гости не плакали.

В корчме народу копошилось, что муравьев в муравейнике; крестьяне снимали шляпы и забрались в угол, цыгане расселись у печи и заглядывали оттуда черными глазами в глаза панам в надежде, что те прикажут им заиграть. А господа одни прохаживались по комнате, другие сидели за столом со стаканом вина, третьи разговаривали, четвертые здоровались, пятые посвистывали, шестые отдавали всяческие указания слугам, седьмые крутились около корчмарки, а последние Бог знает, что вытворяли, только что на головах не ходили.

Вдруг на дворе кто-то защелкал бичом.

Поднялся крик, поскольку двор был заполнен экипажами, а вновь прибывшие норовили протиснуться. В избе все стихло, дверь слегка приоткрылась, какой-то незнакомец, просунув голову, крикнул: «Трактирщик, есть ли у вас помещение, где мы могли бы разместиться?»

«Нету, нету, милостивый государь, все переполнено; ну хоть сами посмотрите, все кругом благородные паны!»

Прибывший поскреб за ухом, сморщился и вошел внутрь.

«Лала, посмотри-ка на него, как ему не нравится», – произнес один господин у стола, толкая

локтем своего соседа. Тот закрутил усы, отпил из стакана и ответил: «Если ему не нравится, пусть хоть об землю расшибется – не велика беда; однако посмотрите на него, пан брат. – Ни сам не поклонится, ни шляпу не снимет, словно мы с ним свиной пасли».

Пришедший осмотрелся вокруг, высматривая какой-нибудь уголок, а потом вышел вон вместе с корчмарем. Немного погодя слуги начали заносить внутрь сундуки, подушки, мокрые накидки, следом появились господа.

Обитатели корчмы сначала удивлялись, друг на друга поглядывая, потом стали роптать, и, наконец, один из них выскочил из-за стола и, преградив слуге дорогу, произнес: «Ни шагу далее!»

«Эй, что это вы в корчме распоряжаетесь?!» – выкрикнул вошедший господин и позвал слугу: – «Мишо, ничего не бойся, складывай. Мы еще посмотрим, посмеет ли кто что-либо тебе сделать?»

«Ни шагу!» – закричал первый. – «Что ж нам, на ваши головы встать, когда места не останется? Или вы почитаете себя более важными особами, чем другие, ежели хотите полкомнаты занять и мокрыми плащами заполнить?!»

«Где это вы научились таким хорошим манерам, чтобы измученных, замерзших путников из корчмы выгонять? Вам, должно быть, голову сорвало, ибо человек в здравом, трезвом уме так поступать не может».

«Ха-ха-ха, ну и дал ты ему», – засмеялся другой, у стола сидящий. – «Вы только посмотрите, как он стоит. Словно ректор отчитал его за то, что руки плохо вымыл».

«Да оттащи ты его», – произнес кто-то со смехом.

«Ну, ты бы этого ему не говорил», – произнес запальчиво первый, непонятно к кому обращаясь, то ли к вошедшему, то ли к своим, за столом сидящим, знакомым. – «А вы порядочная сволочь! Я и впрямь браню вас, а вы все смеетесь».

«Да, так оно и есть, Матей», – шутливо отозвался один из сидящих за столом. – «На то и адвокат, чтобы ты его мог ударить, а он плакать не смей».

«Да оставь ты его в покое», – неприязненно отозвался другой. – «Лучше спроси задаваку, кто он такой, чтобы, входя внутрь, порядочным людям даже не поклониться, словно он никого в глаза не видит».

«Вы на этом настаиваете, господа?» – отозвался вошедший. – «Ну, это поправимо. Однако мне и в голову не пришло. Я был так разгневан на тех извергов, которые не пропускали внутрь мою коляску». – И потом, обернувшись к Матею, говорит: – Однако, пан мой, кажется, я имею счастье знать вас».

«Кто же вы? Не знаю, с кем имею счастье...»

«Я Ян Червень, кастелян Склабинского замка».

«Да неуж-то это ты, Яничко, душа моя дорогая», – произнес пан Матей Штявинский, упав Червеню на шею. Червень обнял пана Матея, который от радости так и расцвел.

Все прочие рассмеялись.

«Ну, прямо как ухажер с милашкой», – произнес пан Ондрей Лужинский, – «а буквально только что хотел ему в запале не менее пяти зубов выбить».

Пан Панкрац присовокупил: «Подумаешь – пять зубов. Он бы ему и глаз выколол, и нос обрезал, и уши пообрывал, и потом еще присягнул бы, что никогда его не видел. Настоящий адвокат!»

Но пан Матей в это время обернулся, взял Червеня под руку, подвел его ближе к столу, где сидели большей частью господа со стаканами, и представил, кем является его приятель.

Большинство панов имя Червень слышали, все вставали, шляпы снимали, высказывали из-за стола и бежали с ним здороваться. Сразу видно, что его здесь хорошо знали, что все ему были рады.

И действительно, пан Ян Червень и наружностью производил впечатление довольно милого человека, готового в своей доброте весь мир обнять; серьезный, однако не такой, какими обычно бывают молодые люди, когда хотят выглядеть взрослыми; проворный и сильный духом. Нос

имел небольшой, лишь чуточку загнутый, глаза – черные, пронизательные, но не подхалимские, – светились как угасающий уголь, когда его последний жар огня еще охватывает; лоб невысокий, но над глазами достаточно выступающий. Словом, это был наилучший портрет короля Матиаша. Пан Червень и впрямь был его сыном и наследником его великих дарований.

Ну, коль скоро господа выяснили, кем является вновь прибывший, они повыскакивали из-за стола и кричали друг на друга, словно гуси, готовящиеся осенью к дороге в теплые страны: «Виват! Виват Яничко!». Пан Червень кланялся, целовал по порядку и молодых, и старых, и знакомых, и незнакомых, поскольку все это были паны братья и, сверх того, еще с древнейших времен друзья королевского дома – как и все липтовские.

«Сюда, к нам, пан брат, сюда!»

«Расскажи, что там в Австрии было!»

«Да, нечего сказать, избрали короля; до утра им не дожить, тем обезьянам, с их королем. Ваш брат должен был стать королем, а вы палатином, вот тогда мир увидел бы, что значит Венгерская земля! – так кричали паны один за другим, освобождая между собой себя место для Червеня.

Пан Червень отозвался: «Ах, господа, прошу вас, дайте мне прежде возможность где-нибудь разместиться, а потом поговорим».

«Мишо! Ян!» – кричит пан Матей Штявинский своим слугам: – «Запрягите лошадей в повозку, на которой эти господа приехали; сложите в повозку и сундуки, и все вещи, да отвезите в мой дом». Слуги ушли, затем вернулись, забрали ранее принесенные вещи и удалились.

Потом пан Матей к пану Червеню обратился со словами: «Мы тут дома сняли, чтобы у твоего брата на шее не висеть. Иди и ты к нам!»

Пан Червень усаживается за стол; господа на лавочках сдвигаются, чтобы еще чуть больше места для гостя освободить. Штявинский подсаживается к гостю и, обнимая его, доверительно говорит: «Как поживаешь, Яничко, как?»

«Ну, дорогой мой Матейко, как обычно, по своей воле; чтоб мы и впредь всегда могли делать то, что нам хочется».

«Извините!» – шепчет негромко за спиной корчмарка, неся тарелки и приборы. Паньы расступаются, и хозяйка корчмы подает приезжему легкий но аппетитный ужин. Червень, то ли ароматом блюд, то ли голодом распаленный, ел так, что, казалось, его накормить невозможно. Паньы наливали вино, сдвигали стаканы и кричали «виават!» в первую очередь Матиашу, его величеству покойному королю, потом Яну Корвину, князю липтовскому, а потом пану Червеню. За Матиаша отвечал и благодарил старый Михал Панкрац, за Корвина – Штявинский, а Червень завершил чествование так, что все головы опустили от смущения и жалости, так как говорил о своем отце Матиаше, о Владиславе, теперешнем короле, о тогдашнем и нынешнем состоянии страны, которые и впрямь отличались. Наступила тишина. Пан Матей крикнул цыганам: «Цыгане, играть!» Те словно стрелы повыскакивали из-под печи и схватились за инструменты. Один скрипку уткнул под бороду, другой тащил цимбал, третий повесил контрабас на шею и медленно начал смысчком водить, и зазвучало.

Пан Панкрац вскочил, седые брови нахмурил и закричал: «Ты что нас, за дурней считаешь, цыган? Мы тут плачем, а он нам такие безумные мелодии играет. Прекрати или я эту скрипку о твою голову разобью».

«Почему не играешь Короля Матиаша, ты, простофиля», – отозвался пан Матей.

«Да оставьте вы в покое музыку», – перебил Червень. «Лучше немного поговорим. А вы успокойтесь, пан брат», – обратился он к Панкрацу, продолжая: – «ведь это пустяк, стоит ли прерывать разговор».

«Да я ничего», – ответил Панкрац, вздохнув, – «я ничего. Так оно и в жизни бывает, что человек самых возвышенных чувств, самого высокого положения едва подумает, что достиг вершины желаний, тут же и ухнет в грязь, словно червь извиваясь в бессильной досаде на свою неосмотрительность».

«Ха, ха, ха», – засмеялся пан Ошко. – «Это похоже на то вино, что мы выпили; точно так

же – сначала во дворец, а потом в грязь».

«Не трепитесь, пан брат», – мотнув головой, произнес раздраженно, но все же без злости, старый Панкрац. – «Если уж напились, так идите спать, а нам тут есть о чем потолковать».

«Ну, теперь ты заведешь о своем Матиаше, и будешь два дня рассказывать, как оно было раньше и как стало теперь», – произнес Лужинский. – «Но однако, Мишанько, говорите, имеете право, не обращайтесь внимания на сплетни».

«Ах, даже если бы человек неустанно и днем и ночью говорил, не спал и не ел, он и тогда не наговорится», – хмуро произнес пан Панкрац. – «Стоит мне только подумать о временах пятнадцатилетней давности, у меня слезы на глаза наворачиваются. Ей-ей, что однажды испорчено, того уже не исправишь. Со всех сторон нас рвут на части, там турки, там Максимилиан, там Ян Альбрехт, и кто же за нас заступится?»

«Да, пока жив наш Ян Корвин, наш князь; будем слушать его и за ним пойдем, если король не может оказать нам помощь», – отозвался возмущенно пан Штявинский.

«Оставь ты его в покое», – прервал его речь Панкрац. – «Что он может? Если король и скажет что-либо, еще не значит, что это тебе понравится; а что же мы сами? Ведь мы и сами меж собой грыземся, и нет никого, кто бы сказал «остановитесь!» Даже если бы Корвин захотел что-либо сделать, Заполы всеми силами будет мешать ему, даже если вся венгерская земля должна будет погибнуть. Уж в этом я вам за палатина ручаюсь».

А пан Червень, вздохнув, произнес: «Так оно и есть! Матиаша многие ненавидели только за то, что не потакал капризам и своеволию земанов, а вел их туда, где они волей-неволей служили стране. А сейчас Заполы, где только может, хулит Матиаша и его правление».

«Как бы он его ни хулил», – выкрикнул Панкрац, ударяя рукой по столу, – «он еще увидит, как его постигнет Божья кара; а если он и дальше будет восставать против вашего дома, так пусть знает, что еще жива та старая рука, которая возьмет меч и всадит его предателю в сердце! Так и сделаем, сделаем, и чтобы стрелы на него с небес дождем пролились, удушить его мало».

«Эй, пан брат», – позвал Лужинский, – «расскажите-ка, что с вами в Подграде произошло. Разве это не оскорбление – с земана пошлину требовать? А Заполы сделал это!»

«Расскажите, расскажите», – отозвались со всех сторон.

Старик не заставил себя просить дважды и начал: «Ну, верно, стали с нами спишские судиться, захотели несколько миль от Липтова присоединить к Спишской столице. Мы же, естественно, не захотели отдавать то, чем наши предки еще от времен короля Стефана владели, тем более что Липтов сейчас является самостоятельным княжеством, которым по праву и справедливости его милость пан Корвин владеет, в то время как Спиш Заполы прислуживает. Судимся, судимся, судимся, а суду ни конца, ни края. Тут и вправду меня наша славная Липтовская столица в Спиш к Заполы посылает в депутации. Прибыли туда. Милый палатин только фыркает, говорит, что сейчас король с Австрией, а он поляками очень заняты, и что наше дело не может быть решено так скоро. Напоследок сказал мне: «Панкрац, я помог бы тебе, чтобы вы свои права не потеряли, или верь мне, ничего не выиграете».

«И даже «пан брат» не сказал?» – спросил с испугом Лужинский.

«Так вот и сказал!»

«Разве это не возмутительно!» – воскликнул Штявинский. – «Когда к вам не так обращаются, как вы того заслуживаете, значит – вас вовсе не замечают».

«Ну», – взял старый Панкрац слово, – «помолчите, пока я не закончу. Я сам с ним достаточно тягался, и ничего не выиграл. Собрался домой, и тут мытари меня принуждают, чтобы я заплатил пошлину. Ну, я к мытарю; поколотил его и ничего не добился, так как тот непрерывно верещал, что он, видит Бог, ничего поделывать не может. Вернулся я к Заполы, а тот мне и говорит, что освободить меня от пошлины он не может, так как столица постановила взимать пошлину в том числе и с земанов. И даже он сам должен платить. Ну, тут во мне сердце так и застучало, ибо видел я, что все это лишь его фигли; я и плакал, и зубами скрежетал о том, что наши славные свободы так немилосердно уничтожаются. – Пришел к заставе, подумал: «Уж лучше все потерять, а от прав не отказаться». Схватил я секиру, рубанул обоим коням ноги, бедняжки рухнули как

подкошенные. Схватил тележку и втащил ее вместе с батраком и гайдуком на другую сторону моста. И все же пошлины не заплатил, хотя коней Заполы на ужин оставил. Нанимаем коней, приходим в Левоче, спрашиваем, действительно ли столица постановила, чтобы земаны пошлину платили – и тут меня на смех подняли. Только через несколько дней узнал, в чем дело было. Заполы, желая мне напакостить, отдал приказ мытарям, чтобы меня без уплаты пошлины не пропускали. Спишские и по сей день над липтовскими посмеиваются, что их вице-пана на мыте поймали.

«Эй, а я, знаете ли, этому кривому Йожко все же заправил мукой, известно, в другой раз не будет честных людей дразнить», – произнес пан Ошко.

Старый Панкрац ответил: «Правильно поступил, сынок. Да, сйечас, когда умер Матиаш, дойдешь ли хотя бы до Спиша с честностью? Где найдешь справедливость? Что значат наши права? – Ничего. Секиру в руки берут и бьют, когда есть кого зацепить. Сегодня разбойникам лучше живется на свете. Мы достаточно судились, и все же все проиграли; Спишские у нас кусок Липтова все же отняли. Я Заполы *processum dehonestationis* направил за то, что надо мной с той пошлиной вытворил; и поучил такую сатисфакцию, что меня аж мороз по коже пробирал, когда ее читал. – Как, спрашивает, отважился ты палатина из-за каких-то сплетен беспокоить и так с ним говорить? – Ну уж и я ему не спустил, не отмолчался, отписал, что наши права и свободы какие-то негодяи ущемляют.

«Те, что вам даже «пан брат» не скажут!» – произнес Ошко. – «Ведь это правда, что мы покойному Матиашу, когда приезжал он в Липтов или на Кралову гору, всегда говорили «Ваша милость, пан король» либо «*Sua Majestat Regia*», а он нас никогда иначе как «пан брат» не называл.

«Да», – отозвался Лужинский, – «ты прав, нет сейчас ни права, ни справедливости. Только и остается, что саблей или секирой таким господам засветить».

«Виват сабле! Виват секире!» – закричали все в один голос и разошлись по Ружомбероку.

II

Также как матушку ее малые детки окружают и она на них с любовью смотрит, так и Ликавский замок со всех сторон окружен горами зелеными, полями золотистыми, и также с высоты своей любит на многочисленных разбежавшихся внизу деток и плоды природы татранской. Ликава, замок достопримечательный, словно на страже Липтова стоит, отсюда бойницами своих башен смотрит он на Лупчу, на Ружомберок. Под ним не один крестьянин вздыхал, в нем не один господин государственной мудростью прославился. Ликава и сейчас остается достопримечательной, ибо происходят в ее палатах и между ее могучими стенами незабываемые события.

Умер король Матиаш, вместе с ним закатилась, поблекла слава венгерской земли. При его жизни важнейшие сановники в Будине обещали, что после смерти Матиаша провозгласят королем его сына, который в действительности унаследовал и мужество, и мудрость, и прочие дарований отца; однако люди неблагодарны, достаточно часто забывают обещания, данные родителям, когда приходит время их детей. В особенности властители могущественные, отмеченные великими свершениями, столь счастливы, что люди им все обещают, а на самом деле столь несчастны, ибо при детях все обещания забываются. Человеку не ищет сильного покровителя. После смерти Матиаша паны стали держать совет о том, что при его жизни обещали совершить единодушно; советовались – шептались, сходились – переписывались кого бы им королем провозгласить, тогда как свежая ветвь с дерева рода Хуньяди – сын Матиаша, юный Ян Корвин был жив; тогда как именно ему была давно обещана корона Святого Стефана. Однако, как это обычно бывает при таких совещаниях, ссорах и недоразумениях, случилось, что один одного, а другой другого в короли прочит, или одну из сторон поддерживает, из-за чего возникли ссоры и недоразумения между дворянами края. И что сотворили? Не найдя единомыслия, передали свои разногласия о будущем короле на рассмотрение Заполы, тогдашнему австрийскому губернатору. Тот обрадовался такому повороту! Так потирал руки, что оставалось только удивляться, почему они у него огнем не пылают, усы подкручивал, и вся его фигура так вытянулась от сознания собственного могущества, что готов был громы небесные на землю метать. А почему бы и нет? Вся венгерская земля, корона Святого Стефана находились в его руках, он мог эти сокровища свободно раздавать; и, кто его знает, сам о той короне не подумывал ли? Коль скоро был человеком весьма охочим до славы, власти, господства! – Меж тем так рассудил Зполы: «Хорошо мышам, когда кот в доме нет, хорошо панам, когда король слаб!» И провозгласил королем Венгрии Владислава, короля Чехии. Яну Корвину хотел закрыть глаза тем, что подарил ему множество земель и замков в Силезии и Славонии, в Хорватии и в Венгрии, целый пояс столиц от Липтова до Прешпорка, а чтобы у него титул был, превратили Липтов в княжество, которое так и называлось. Думалось панам, что Корвин, который и правом на корону, и способностями к управлению государством обладал в полной мере, не позволит так легко себя успокоить и какой угодно шкваркой глаза закрыть.

Корвин, видя, что его власть летит в пропасть, решил служить ей без остатка, как обязывали его к тому предания о добродетелях отца. «Что случилось, того уже не изменишь», – решил он в своем любовью к власти преисполненном сердце и принял дары, которыми наделили его паны в Будине.

Король Владислав помирился с Максимилианом австрийским и с Альбрехтом, своим братом, и с тех пор впервые за время его правления забрезжила звезда мира над горизонтом Венгрии. Сколько за время войны нагромоздилось тяжб и всяческих распрей, все тотчас необходимо было рассмотреть и разрешить на основе права. Паны земаны ставят ружья в угол в своих усадьбах, вешают сабли на гвоздь под фамильным гербом, пистолеты над ними висят спокойно. Легкие доломаны сменяют тяжелые доспехи, а в руках вместо тяжелого оружия появляются писарские перья, поскольку пишут жалобы и ведут войну не кровью, а чернилами. Полководческие таланты ветшают, и никто о них не вспоминает, на их место выдвигаются добрые говоруны, речистые адвокаты. Много, слишком много тех, кто пером и языком, а если до этого дойдет, то и кулаком добивается своих прав; ибо так уж он устроен, этот венгерский земан, что пока идет война, терпит он и нужду, и все кривды от соседа.

Однако едва наступит конец перебранкам в полях, по замкам и цитаделям, едва осядет земан в своей усадьбе и примется обрабатывать старым плугом свой надел, не найдете в сравнении с ним лучшего адвоката ни в Германии, ни в Англии; *on tu zreže rovãš obrazu, a to, ked' na to pride, i bez sudcov, i bez svedkov*. Хотя времена Матиаша не столь отделились, а порядок, время правды для венгерского земана едва ли не за горизонт закатилось. Так же думает о Ликаве сейчас и наш словенский земан.

В Ликаве, в судебной палате сидят паны и судятся. Во главе зеленого стола на возвышающемся кресле видим красивого молодого мужчину. Черные, мягкие усы словно змеятся вниз к красивым карминовым губам, крупные черные глаза двумя углями светятся у него под выпуклым, нависающим лбом, когда глаза приходят в движение, когда обводят взглядом дворян, здесь с достоинством сидящих, словно вороненные крылья взмывают – так высоко возносятся их блеск, так глубоко врезается в душу их взгляд, который невозможно выдержать; а когда он красивой белой рукой погладит лоб или ус подкрутит, или волосы поправит, тут уж тот, кто на него поглядит, увидит не меньше чем целое небо звезд, которое над ним разверзлось и смотрит на людей. – По мановению его руки все встают, по выражению его прекрасного лица читают, к чему склоняется его воля, и каждый силится прежде, чем разверзнутся уста, узнать и исполнить то, что он выразит словом. А если сабля на боку звякнет, тут уж – не дай Бог! – словно труба, на битву зовущая, прозвучит, в каждом что-то шевельнется, каждый, знакомым военным звуком тронутый, оглянется, не скажет ли князь: «Вперед, мужчины, на бастионы и замки!» Еще двадцати пяти лет не исполнилось молодому князю, а какая сила уже видна в его фигуре, в его жестах! Да, был бы он королем венгерской земли! При виде Яна Корвина каждый вспомнит Хуньяди, каждый вспомнит Матиаша! И князь липтовский вполне обладает теми силами, ему от Бога данными, он умеет ими повелевать, а они ему служат. Липтовские дворяне живут и умирают с Корвином.

По правую руку от князя сидит старый приятель Корвина пан Панкрац; ни один настоящий граф или барон не могут у него это место отнять, поскольку всем хорошо известно, что он наипервейший приятель князя.

Его волосы посеребрены, а лицо от старости словно распахано, (хорошей жизни хотел борозды следы получше изготовить, но это ему лишь отчасти удалось?); хлопоты, обрушившиеся на него в служении стране и роду Хоньяди, глубоко избородили лицо Панкраца.

Годы не властны над жилами и мышцами его могучего тела; старый пан словно на коне сидит, держится как воин перед начальником, навытяжку. Он вполне сознает величие этого предназначения – сидеть по правую руку от Корвина. Слева от князя сидит Червень, каштелян по должности и подлинный владелец и господин Склабинского замка, брат князя. Как это было издревле заведено, пан Панкрац представляет лично каждого князю, и каждый с воодушевлением приветствует пана Яна Корвина.

После всего этого произнес князь перед присутствующими замечательную речь, открывая тем самым совет благородных липтовских сословий.

Нотарь столицы встал, оглядел присутствующих, по кивку пана Панкраца протянул руку к горе бумаг и писем, и начал читать. Чтение длилось долго, так что нотарь устал. Не один раз пришлось ему вытирать пот со лба, прежде чем дочитал одну тяжбу, сел и руками лицо оглаживал. – Теперь дворяне высказывали свои pro et contra, как кому виделось, а ораторы один за другим стремились заслужить расположение и похвалу князя. Когда уже предостаточно слов нагромоздили, языками намерялись, сдвинулся снова пан нотарь со своего места и начал читать: «*Joannes Corvinus princeps Liptoviensis contra Perillustrem Dominum Stephanum Zapola, Palatinum Отвднеш Regni Hungariae*» и т.д., что означает по-русски «Ян Корвин, князь Липтовский, против урожденного господина Степана Заполы, палатина славной Венгрии», и т.д. И едва нотарь прочитал это, как паны принялись испуганно и онемело смотреть друг на друга, затихли так, что жужжание мухи было бы слышно. Нотарь осмотрелся, но после такой разительной перемены уже не нашел в себе смелости читать далее, поскольку хорошо знал, что подобные тяжбы рассматриваются не в таком, а в высшем суде, и второе, что его смутило, это всеобщее оцепенение собравшихся. «Не пугайтесь, господа, моих претензий», – произнес князь. – «Я вовсе не собираюсь втягивать вас в процесс, не желаю, чтобы вы рассудили эту тяжбу в мою пользу. Моя тяжба с Заполы может быть разрешена только перед лицом всей страны. Нет, я не жду от вас ни толкований права, ни вердикта, хочу лишь того, чтобы вы, дорогие мои паны, знали, что стоит между мной и Заполы. Вы по происхождению судьи этой страны, ваша родовитость, ваше положение в нашем краю дает вам неоценимое влияние на дела в стране; и я не желаю, чтобы вы оставались в неведении до тех пор, пока это не станет общим достоянием, когда вы как основное сословие страны должны будете судить. То, что лежит между мной и Заполы, касается каждого, и я надеюсь, что вы не оставите в небрежении право, честь и достоинство нашей страны!»

«Виват липтовскому князю! Виват Венгрии! Мы за обоих вечно стоим!» Такие возгласы доносились от собравшихся, когда Корвин закончил свою речь. Князь учтиво поклонился на все стороны, и нотарь, откашлявшись и утерев белым платком усы, принялся читать далее:

«Я, Ян Корвин, князь липтовский, выступаю с этим моим заявлением против его милости господина палатина Стефана Заполы и обвиняю его перед лицом всей страны в следующих, как меня лично, так и всей страны касающихся, проступках:

Во-первых. Когда я его милостью господином Лауренци Юляки был направлен во главе войска против Максимилиана австрийского, в это время губернатор Заполы Черному полку короля Матиаша, который располагался в Тренчанской столице, через своих послов, вскоре павших от рук господина Юляки, отдал распоряжение, чтобы не только к нам не присоединились, но чтобы даже шагу против общего нашего неприятеля не сделали, а причину своего бездействия приписали тому, что им жалованье за несколько месяцев не выплачено».

«Как, разве это сделал Заполы?» – произнес пан Ошко и все пришли в волнение, удивление было всеобщим, каждый хотел дознаться, каждый в душе возмущался, событие было, конечно, известным, но его причины только теперь вышли на свет. Известное дело, что в таких обстоятельствах не один земан забудет о том, что он находится в благородном собрании, и даст волю своему гневу так же, как это было бы в какой-нибудь корчме за стаканом вина. Так и тут случилось. За Ошко вскричал Штявинский, за ним Тацы, а за ними множество других, и каждый на свой манер выражал свой гнев, свое возмущение предательством Заполы.

Князь поднялся над бурей, чем далее, тем более разгоравшейся, и, повысив голос, просил благородное собрание, своих панов братьев, успокоиться. Им это, правда, не понравилось, поскольку обычно гораздо проще взбудоражить мысль, чем ее успокоить. – Но все же порядок понемногу восстановился, как никак, у князя была сила и в голосе, и в жесте, ему тяжело было противостоять и в самом страшном гневе; птому все действительно стихло, и нотарь продолжил читать далее:

«Во-вторых: Его милость господин губернатор Стефан Заполы принудил Якуба Шекели, чтобы он отпал от его милости Владислава и встал под руку Максимилиана. Якуб Шекели, который когда-то был одним из моих наивернейших приверженцев, сегодня, когда я поставлен во главе борьбы против Австрии, бьется против меня, объявив мне об этом приказом, чтобы

я против Максимилиана не выступал, так как любые мои завоевания Заполы может своей властью уничтожить. Заполы потому и вмешивается в австрийскую войну, что пообещал это Максимилиану. Наконец, когда я сам встал между Гроном и Ипелем, войска, которые хотели и могли ко мне присоединиться, Заполы задержал, и по всему, что он делает, видно, что был бы рад мою особу уничтожить».

«Пусть только посмеет!» – закричал старый Панкрац.

«Паны братья, можем ли мы это так оставить? Неужели будем терпеть?»

«Не будем, не будем!» – в один голос закричали все господа; а у старого Панкраца глаза так и засверкали. Распрямылся он еще величественнее и, повышая голос, произнес:

«А если не будем, тогда долой его!» В палате ничего более не звучало кроме бряцания сабель и возгласов: «Долой его, долой его!»

Пан Корвин попытался взять слово, но буря была так велика, что в конечном счете пришлось ему просить пана Панкраца, чтобы тот и сам утихомирился, и умерил этот невероятный шум. Однако Панкрац был разъярен и разгневан: «Ваша милость, князь наш дражайший, наимилостивейший, прикажите, и мы последнюю каплю крови выцедим за вас и за ваш род, но не требуйте, чтобы молчали там, где видим, что о вашем счастье и о наших правах, а главное – о свободах идет речь! Я сам вашего рода слуга до кончины, а знаете ли, ваша милость, что и мне, наивернейшему, учинил Заполы?»

Тут прервал речь Панкраца пан Ошко и выпалил:

«Пошлину приказал с него требовать, и посмел учинить такое над нашим Панкрацем, который десяти таких Заполы стоит; чего же еще он не отважится с нами сотворить?»

«Этот ни с королем, ни с земаном не считается», – кричали другие, среди которых голос пана Самуэля Шовды был одним из самых выразительных. Он воскликнул: «Эй, знаете ли, что он нам учинил? На нашу славную вотчину, которой наша фамилия владела с незапамятных времен, наложил арест лишь за то, что мы всегда поддерживали Хуньяди! О, я буду кричать, покуда буду в силах, и покуда меня не услышат за семьдесят семь земель, и всегда только против проклятого Заполы!»

Пан нотари не знал, читать ему далее или нет. Крик, суета, бряцание сабель, грохот стульев, окрики успокаивающих кричащим, все шумят, гам такой, что один другого понять не в силах. Князь поднялся с кресла, и тут предстала во всей красе его благородная, выразительная фигура, к тому добавился знакомый голос Червеня, призвавшего к умеренности и спокойствию, и всего этого оказалось достаточно для водворения покоя. «Паны братья, славные земаны!» – зазвенел в тишине залы голос Корвина. – «Мне известно, сколько несправедливостей учинено лично каждому честному земану, о чем мы – в том числе и сегодня, из чтения ваших жалоб – узнали; я стоял и буду стоять за то, чтобы все исправить; однако, какой же это будет порядок, если вы не дадите рассмотреть другие тяжбы на том основании, что над вами учинена несправедливость!» – Обращаясь к Панкрацу, князь предложил: «А вы, пан Панкрац, возбудите еще раз *processum dekonestationis*; вам, пан Шовда, на основании второго декрета его милости короля Владислава от 1495 года, статьи 1, параграфа 2, все, в том числе и с годовым доходом, должно быть возвращено».

«Да, но кто принудит к этому могущественного Заполы?» – отзывались в зале голоса.

«Умер король Матиаш, а с ним и справедливость!» – выкрикнул другой, и не один пожилой дворянин вынужден был вытирать слезы.

«Какой толк от декретов Владислава, что он ни напишет, все остается только на бумаге!»

«Да, паны братья мои благородные, так было искони, так оно и останется!»

«Однако просим еще раз славное земанство», – повышая голос, продолжил Корвин, – «не прерывать меня. Пока нам открыта дорога права, будем ее держаться; если не получим удовлетворения, обратимся к королю! Просим вас, дайте дочитать пану нотарию!» Наступила тишина и нотари возобновил чтение:

«В-третьих: Обвиняем господина губернатора Стефана Заполы в том, что нашей семье принадлежащий замок Замбор два года тому назад самовольно силой отнял и себе присвоил, а нам, вопреки приказам короля, возвратить не желает!»

«Ну так на Заполы, на Заполы! Причем тут право? Только на Заполы! Вот наш девиз!» – кричали самые разгневанные из собравшихся и этим возбуждали остальных, более спокойных и миролюбивых. Корвину пришлось приложить немало усилий, чтобы продолжить спор с Заполы посредством переговоров; он предложил отправить к нему посольство, и если вернет, что отнял, заключить с ним мир и забыть о личных обидах.

«Как это, забыть о личных обидах?» – кипел гневом Панкрац. – «Венгерский земан никогда не забывает обид! Зачем нужна жизнь без права? А права на деле у нас нет. Кто сильнее, у того и право. Заполы выше любого права, поскольку он сильнейший. Поэтому никого не спрашивает, как идут дела в крае, в стране, делает все по своей воле, и когда мы в ответ на это зубами скрипим, смеется нам в глаза – разве это не вызов нашей силы на бой? По-доброму помириться? Договориться? Но разве этот высокомерный палатин знает, что такое добро? Разве он не пренебрегает каждой депутацией? Грабит, истребляет, наемников своих вознаграждает, а право уничтожает. Этот Заполы ненавистный злостью нас мучает, плутнями изводит, высокомерием оскорбляет; ну, так если мы настоящие земаны, докажем ему, что земана нельзя оскорблять безнаказанно, непозволительно обманывать без гнева, невозможно притеснять без кары! Наши права, данные Стефаном, подтверждены и расширены Ондреем; кто для нас пан Заполы? Не перестану кричать своим старым голосом: «Долой Заполы!»

Сел, совершенно изнеможенный гневом. На его речь откликнулись самым бурным громом. Дворяне вставали со своих мест, надевали собольи шапки на головы, бряцали саблями и кричали в один голос: «Долой Заполы!» – Совет закончился, славный званый обед, приготовленный для панов, уже ожидал их разговорчивые и красноречивые желудки.

III

Князь давал славный обед, и господа хозяйничали как дома. По окончании обеда выяснилось, что все, что князь хочет предъявить Заполы, будет предано огласке. На том и успокоились, сойдясь во мнении: «Хорошо, все это вас касается так же, как и меня, поэтому что сделаете, то и будете иметь», – и, охотно вручая себя пану князю и панам братьям, разошлись по домам; другие, не заботясь о доме, о семье, но предпочитая компанию сидению дома за печью возле жены, остались в Ликаве, пьют, буянят и бранятся. Третьи собралась на охоту, а четвертые ушли к приятелям, чтобы еще несколько дней повеселиться.

Пан князь, не дожидаясь окончания обеда, ушел в свои покои, где обыкновенно читал и писал, где бумаги лежат на столе, а книги – на полках. Следом пришел пан Червень и протянул руку своему брату. Князь пожал ее и сказал: «Братец, наконец-то мы в покое и можем прижать сердце к сердцу и произнести слова приязни».

«Ничего не поделаешь, человек должен вновь и вновь забывать о себе, когда перед ним стоят высокие цели».

«Ну да ладно», – ответил на это князь. – «Теперь, после трудов, побеседуем».

«О чем же побеседуем? Пожалуй, не только о том, о чем в собрании говорили? – Что и как нам делать, мы уже обсудили: и все же, братец, прошу тебя, объясни, почему все против Заполы? Но к тому, какие претензии ты ему предъявляешь, не прислушались?»

«Хорошо, отвечу тебе. Помнишь ли последние слова нашего отца? Ах да, тебя там не было, ты не знаешь, но я тебе расскажу. Его взгляд уже остановился, лицо дрожало, а из болезненной груди доносились такие звуки, что мало кто понимал; только правая рука его шевелилась, и мы видели, что благословляет кого-то, так как двумя пальцами совершал святой крест. Все стихло, он положил руки на сердце и из глаз, которые вдруг ожили, потекли слезы. Потом он пошевелился и тихим голосом попросил присутствующих, чтобы его оставили. Я остался с ним.

«Я сделал, что смог», – говорил он тихо. – «Бог свидетель, в моем отечестве много раз солнце вокруг земли обернется, прежде чем появится в Венгерской земле человек, который с такой же страстью будет жить и умирать, как я. Сын мой, умираю, благословляя свое отечество, увы, умираю со слезами, так как должен его оставить. Увы, разгорятся страсти, поднимет свои знамена своеволие, и уничтожит мое дело, дело мое, дело великое – но незавершенное. Сын мой, займешь ты после меня государев трон или нет, подавляй страсти, где только возможно, сопротивляйся своеволию и стой на том, чтобы царил закон. – Да, вижу тебя, как тебя задевают, как множатся несправедливости, зло против добра, невинность против греха, – и все это в моем отечестве. – Знаю, тяжело для вас бремя моей власти, поскольку привыкли жить без порядка, без закона. – Будете помогать скипетра и строить козни и себе, и отчизне. – Сын мой, поклянись, что во всем будешь наследовать своему отцу!»

Умолк, я со слезами поклялся, а он благословил и меня, и кого-то еще; слов не разобрать, но он шептал и шептал, хмурил брови, угрожал и благословлял – кому, кого, неизвестно – и уснул».

Князь замолчал – и хотя еще не закончил свой рассказ, не мог договорить, ибо воспоминания наполнили слезами его очи, замутили душу, обременили сердце – и слова застревали в груди,

пробуждая печальные чувства, еще более печальные мысли. Пан Червень устремил взгляд в землю, должно быть, все это затронуло и его сердце; даже если глаза не слезятся, грудь не вздымается, кто знает, что он чувствует, о чем думает. Князь прервал молчание: «Потому и выступаем против Заполы, потому и не желаем против него бунтовать других, что выполняем волю умирающего Матиаша, а Заполы – это тот, кто уничтожает все, что создал мой отец, который меня всей душой ненавидит и хочет уничтожить ради того, чтобы и памяти не осталось о великом короле, его возвысившем; который у меня сейчас отнимает мои владения, который перед тем из отцовского наследства забрал, что хотел. Перед ним молчат и закон, и право, поскольку он их наивысший покровитель. Волк охраняет овцу – и все великое, святое, что создано Матиашем, превращается в ничто».

«Твоя правда, твоя», – сказал Червень, – «но разве не собираешься противиться ему?»

«Велика его сила, он – палатин; я – князь, но не располагающий властью. Что же теперь, поднять знамя мятежа против него и развалить на части всю страну?»

«Тогда примиришься с ним, и поступай так же, как он».

«Вода никогда с огнем не примирится, и не станут ворон горлицей, а голубь ястребом. Заполы вознесся из ничтожества, он и в своем нынешнем величии ничтожен, поскольку ничего возвышенного не носит в своем сердце; он научен на постоянное изменение времени смотреть как на счастье, поскольку время и счастье сделали его тем, кем он есть; не зная ничего другого, он полагает, что все сущее на свете создано только для удовлетворения наших желаний.

Червень произнес: «Тогда долой его, как о том паны кричали».

«Легко сказать, но трудно сделать».

«Отдайся чувствам и соедини с ними несгибаемую волю, тогда затмишь и солнце на небе, и звезды в ночи. Каждый, кто дает волю ненависти, вынужден следовать за ней и идти туда, куда сердце ведет».

«Да, однако, он является всем, а я ничем, он был гетманом драбантов, а я королевским сыном, он стоит высоко и успешно одну за другой срывает блестящие, которыми меня с ног до головы покрывает отцовская слава – а мне остается только взирать на это; он уничтожает все достижения моего отца – а я должен помнить о клятве, которую дал умирающему королю, он губит отчизну – а я не могу ей помочь».

«Это ты так думаешь; не бойся силы, когда обладаешь силой, а если не обладаешь, не жалуйся, все одно не поможет. Ударь, если можешь. Знает Заполы, что и как может начаться».

От слов Червеня у князя засверкали глаза, он выпрямился как прут, а лицо посветлело как небо, на котором солнышко разогнало облака. Князь протянул руки, порывисто положил их на плечи Червеню и произнес: «Ты и впрямь так думаешь, как говоришь?»

Червень усмехнулся, кивнул головой и произнес: «Зачем говорил бы, если бы так не думал? Послушай, я знаю, что Заполы жаждет трона, что когда пришли в Вену представители благородных сословий спросить его, вызвал своего сына Яна и произнес высокомерно: «Был бы ты чуть постарше, эта блестящая корона была бы на твоей голове!» Я знаю, что он предводитель всего злого, и потому говорю: «Выступай, если можешь, против него, рви сети его замыслов, а иначе прощай страна, прощай справедливость!»

Князь слушал слова брата, слушал, затаив дыхание, чтобы ни вдох, ни выдох не мешали ему ловить каждое слово, такое приятное, такое неизведанное. Когда тот закончил, спросил: «А ты готов выступить против Заполы?»

«Дай мне власть, дай мне силу – тогда увидишь, что произойдет. Да что же я? – Если бы у меня было твое имя, твое богатство, то доверие, которое к тебе испытывает пол-страны, я бы не спрашивался ни у Владислава, ни у палатина, но сам в своих землях властвовал как господин и выступал бы против каждого несправедливого шага».

«А хочешь разделить со мной мою власть?» – с интересом произнес князь.

«Братец», – ответил Червень, – «силу и власть нельзя делить, поскольку она лишь до той поры остается силой, пока не распадется на части. Стоит силе выступить, как за ней потянет все, что является слабым; так и ты – выступи, а мы пойдем за тобой. Ничего не поделаешь, если что».

либо должно случиться, одна личность должна вести за собой всех. Сила, которую мы можем противопоставить Заполы, должна опираться на крепкий и надежный фундамент, должна объединяться вокруг личности, которая ее сплотит; а ты – единственный, кто действительно может начать, только лично ты имеешь право, другого мир осмелял бы».

Пан князь порывисто ответил: «Братец, ночь и день неустанно высматриваю, и все же не нахожу, руки протягиваю, и не могу дотянуться! Однако идея найдет идею. Послушай, послушай! Еще никому не открыл сердца, не раскрывал перед людскими взорами своей души, однако ты меня поймешь, ты не обратишь мне во зло мои слова. Все, как ты говорил, так и я думаю, так и я чувствую, так же хочу сделать. Мы хорошо знаем, что только сила, представленная одной личностью, поможет нам всем. Владислав не является такой личностью. Заполы тоже нет, несмотря на то, что у него есть сила, и он на деле является королем, хотя и не носит этого звания. Чтобы в стране утвердилось добро, чтобы вернулся старый порядок, должен кто-то взять в руки узду, за которую поведет всех остальных. Однако к такой власти никто не придет иначе, как через падение Заполы, и потому согласен, ударим на Заполы, когда мое дело будет решено; за ним стоит народ и мы должны эту благосклонность народа у него отнять, для этого я умышленно предложил собранию свои претензии против Заполы. Владислав его боится, и потому должны мы любыми способами воспрепятствовать их сближению, поскольку король переменчив, к чему я тоже уже предпринял шаги, – внушил, что Запола спит и видит, чтобы обосноваться для начала в Левоче. Он богат, а ведь известно, что за богатством весь свет тянется, потому мы души наших последователей должны наполнить святой любовью к отчизне, чтобы их никакие обещания не смутили; и потом, потом, когда этих трех целей достигнем, мы на него обрушимся, отомстим за позор и отвоюем наследственные права».

Князь говорил, повышением голоса подчеркивая свои мысли. Похоже, что все это давно лежало у него на сердце и сейчас, когда решил открыться, с воодушевлением произносил слова; чувствовалось, что душа его, хоть и была внешне спокойной, хотя и не видно было, как сожалел он об утраченных надеждах, которые сулили ему венгерский трон, в глубине он переживал утрату, был весьма уязвлен тем, что власть его была отнята, в титуле отказано. Ничего не поделаешь, если человек к чему-либо чувствует призвание, но не исполняются его ожидания, как бы он этого ни скрывал, что бы при этом ни говорил, все же в глубине души его остается горькая боль, незаживающая рана. Тем более, если человек сознает, что менее достойный получил то, чего он жаждал!

Червень слушал, принимая и не принимая сказанное, и хотя князь в волнении этого не замечал, хотя Червень не излагал своих мыслей, все же он не оставался бесстрастным, и его лицо это отражало, поскольку при последних словах князя он нахмурил брови и отвернулся. Князь говорил далее:

«Ты, братец, говорил, что силу не нужно делить, и в этом ты прав; однако ты не прав, когда советуешь, чтобы я в своих землях распоряжался по собственной воле. Единая сила должна подняться над всей страной и от нее, словно от сердца кровь по жилам, должна разлиться по всей стране. Чтобы добиться того, чего желаем, должны встать во главе всей страны». – А потом, понизив голос, произнес. – «Трон – он утрачен, однако сила и власть, которыми обладает Владислав, остается отделенной от трона, потому что Владислав будет делать то, что ему говорят. Но Заполы должен быть свергнут, тогда все будет хорошо», – договорил князь, приглядываясь испытующим взглядом к Червеню, и спросил: – «Будешь ли ты действовать против Заполы?»

Червень улыбнулся и ответил: «Ни званию, ни богатству, ни силе и власти его я не завидую, но за то, что он несправедлив и действует вопреки праву, всюду, где только возможно, я буду действовать против него».

Князь так и не понял, как ему понимать эти речи, но, недолго думая, слов не разбирая, произнес, взволнованным голосом: «А составил бы ты основу союза против него со своим братом?»

«Если это зависит только от меня, охотно».

«Зависит, зависит – ты мой брат, и поэтому твое происхождение связывает тебя со мной, ты способен сделать более других, ибо останешься верен мне; ты лелеешь те же мысли, и поэтому все будешь выполнять с убеждением; ты рассудителен, и поэтому никогда не поступишь опрометчиво, все исполнишь наилучшим образом. Так дай же руку, пусть нас свяжет святая клятва, что останемся верны друг другу до смерти, что живыми и мертвыми будем трудиться против Заполы!»

Едва начал Червень подавать князю руку, кто-то из-за спины крикнул: «Эй, возьмите и меня в ваш союз!» Братья обернулись, осмотрелись и увидели позади себя пана Панкраца, который с важной улыбкой протягивал руку. – Князь узнал Панкраца, он знал, что это самый преданный ему человек, и самый ярый неприятель Заполы; и все же ему не понравилось, что он стал свидетелем этого доверительного разговора с братом. Панкрац это понял и наполовину в шутку, наполовину всерьез сказал: «Раз уж все слышал и знаю, что куете, чего уж теперь – возьмите и меня в свой союз, а я вам такую клятву принесу, что у всех в глазах заискрится, а у Заполы – в первую очередь».

Князь ответил: «Раз уж вы узнали начало, можете узнать и конец, ибо я сказал, что мы с братом сделали почин, который должен распространиться далее!»

«Да, я тоже хочу стоять у истоков», – говорил Панкрац. – «Вы имеете право гневаться на Заполы, ибо он клялся в Австрии и в Будине вашему отцу, что будет настаивать на том, чтобы вы стали королем, и посмотрите – прекрасно вам помог, я тоже имею право на него гневаться».

«Оставим гнев», – голосом полным тревоги произнес князь, – «То, что мы делаем, мы делаем из чистой любви к отчизне».

«Ах, оставьте вы на время эту любовь, поскольку все это лишь праздные слова, которые мало что значат. Нет бы Заполы в глаза бросить: «Парень, ты обманул моего отца!» – вместо вашего: «Предал отечество!» – Что? Неужели человек не имеет права погасить пламя, когда оно его опалает? – Да, прочь с этим постоянным терпением. Если тебя ударили, ударь в ответ. – Он лишил вас трона – лишите и вы его всего, чего только сможете».

«Так не годится, не годится», – ответил Червень, мотая головой, – «Речь идет о троне, а не о Заполы. – Король что один, что другой – не в личности дело, была бы польза стране!»

«Пожалуй, вы с вашим рвением немногочего достигните», – проговорил Панкрац. – «Это замечательные слова, замечательные, и захватывают человека так, что, кажется, от одной искры готов в пекло спуститься, но когда поостынет, поудмает: «Не гаси того, что тебя не жжет», – с таким ты даже шнурка для доломана не добудешь. Но пусть только ваша милость встанет во главе наших людей, скажет им: «Смотрите же, Заполы отнимает у вас право, долой его, я буду палатином или королем!» – тогда увидите, как дело пойдет».

«Вы поступайте по-своему, а я по-своему», – ответил на это с улыбкой князь, – «И это хорошо. Молодым приятно видеть одно, а пожилым – другое. Мы молоды, а ваша милость уже в возрасте».

«Это не важно», – отозвался Панкрац. – «Что? Да, я тоже знаю, как надо начинать, и когда придет время взять в руки саблю, тогда увидите, кто лучше в этом разбирается – я или кто угодно из ваших юношей».

«Не подведем, не подведем».

«Пусть так. – Однако не растерялись бы в других обстоятельствах. Впрочем, вернемся к Заполы. Пан князь, ваша милость – принимаете ли вы меня?»

Князь похлопал по плечу почтенного старца, подал брату одну, а Панкрацу другую руку и сказал: «Хорошо, дорогие мои – клянемся, что будем вечно Заполы преследовать, что поднимем народ против него, что не успокоимся, пока не освободим страну от ярма, которым она угнетена!»

«Клянемся, клянемся!»

«Что останемся верными клятве!»

«Клянемся, клянемся!»

И князь сжал обоим руки, целовал обоих, а те меж собой целовались – и сказал: «Хорошо, хорошо – теперь, когда мы объединились, будем начинать».

«Подождите, подождите, пан князь!» – произнес старый Панкрац. «Это еще не конец нашей клятвы. Я сам навязался в ваш союз и хочу вас заверить, что нет мне пути назад, чего и от вас жду. Что ожидает того из нас, кто либо союзу, либо одному из нас окажется неверен, кто, например, перестанет добиваться нашей цели?»

Князь произнес: «Смерть».

«Хорошо, хорошо, пан князь», – произнес Панкрац. – «смерть, смерть ему; а старый Панкрац клянется вам, что сам разобьет голову о первый же камень, если ему когда-нибудь взбредет помириться с Заполы. – Да, пан князь, и вы, пан брат Червень, прикажете ли вы старому Панкрацу, чтобы саблей или чем-либо шепнул на ухо в напоминание о нашем союзе, если один другому или союзу этому вдруг окажется неверен?»

«Что вы задумали?» – отозвался князь.

«Ничего не задумал; но я хочу на всякий случай обеспечить свою безопасность. Большие господа иногда имеют смешные привычки, а молодые люди порой обещают многое, о чем потом сожалеют. Увы, беда тому, кто вступает с ними в игру, ибо они по тем или иным причинам скоро помирятся с неприятелем и оставят пропадать того, кто самым горячим образом поддерживал их замыслы!»

«Так вы нам не верите?»

«Верю, не верю – это не важно. Если бы не верил, то ни во что бы не вмешивался, я же хочу, чтобы наш союз стал цепь, которую никто не сможет разорвать, поскольку одно звено крепко связано с другими».

«Если вам так угодно», – ответил князь, – «можете остаться. Я отвечаю за себя – и мой брат также. Тот из нас, кто о других помнить не будет, кто охладет и не последует к совместной цели – будет предан смерти».

«Вот и хорошо, это то, чего я хотел. Теперь приступим к делу, поскольку если не ковать железо пока оно горячо, ничего не добьешься», – говорил Панкрац.

Червень все это время молчал, словно немой, только слушал, что говорилось, наблюдал за тем, что происходило, и лишь тогда, когда все присягали и клялись, принимал участие в разговоре. Князь смотрел на своих союзников с умилением и напоследок спросил, что они намерены немедленно предпринять. – Червень ответил: «Теперь поступай, как знаешь, изложи нам свои планы, а мы будем исполнять; однако поторопись, пора вернуться к гостям, которые истолкуют нам во вред наше отсутствие; ты же знаешь, что им достаточно малости, чтобы вспыхнули как порох».

Князь сказал: «Почин я уже сделал, изложив свои претензии перед сегодняшним собранием. Этим я хотел пошатнуть в народе доверие к Заполы, и это, как мне кажется, удалось».

«Ну а если и нет, – перебил его Панкрац, – зачем же нам разум? Нам и слова не надо, все мы с кем угодно, только не с Заполы».

Князь говорит: «Конечно, здесь – это еще не повсей стране, однако это станет общеизвестным, и придут высшие судьи. В Хорватии мой шурин Франкопан и вся семья согласны со мной, Якуб Шекели только и ждет, когда мы выступим против Заполы; Юлаковцы тоже со мной согласны – хоть сейчас готовы выступить. Словом, можем начинать, но только после того, как Владислав рассудит то, что мы ему предложим. Франкопановцы уже добрались до Будина и действуют при королевском дворе против Заполы. Король, знаю, не расположен к нему и не терпел бы его, если бы ему было на кого опереться в государстве, кто бы помог ему устранить ненавистного Заполы. Вот когда убедится в справедливости моих жалоб, которые я сегодня огласил, Заполы хочет не хочет, а вынужден будет уйти. Этого мы и должны ждать. С другой стороны нам необходимо, чтобы Заполы еще больше нас ущемил, только после этого будем иметь право его ударить. Сейчас должны послать в Спиш, где и призовем его именем закона и королевского решения, чтобы не только удовлетворил требования всех, кто сегодня на него жаловался, и освободил их

владения, но и мой замок Замбор мне вернул и – на основании второго декрета Владислава, что нам недавно был вручен, – возместил годовые убытки».

«Этого он не сделает», – сказал Червень.

«Скорей позволит себя на куски разрубить», – подтвердил Панкрац, – «чем соизволит свою высокомерную голову склонить перед королевскими декретами».

«Этого нам и нужно, ведь после этого будем иметь вескую причину на него наброситься. – Наконец, и короля можем довести до того, чтобы начал держать диету, а потом выступим против него. – Так кто же пойдет в Спиш?»

«Если вас это устроит», – сказал Панкрац, – «пошлите, вот, пана Червеня».

«Хорошо, хорошо. Братец, ты поедешь в Спиш, предъявишь палатину наши требования, и этим снимешь все наветы, что на нас возвели. Вы, пан Панкрац, спросите у каждого, что он имеет против Заполы, и скажете, что посылаем послов в Спиш к палатину и предлагаем ему поладить миром.

«Я для вас все сделаю, только не напоминайте мне о мире, ибо как только об этом слышу, кровь приливает к голове».

«Ну, ну, ваша милость», – ответил князь, – «мы вынуждены так говорить. Неужели забыли, что обещали нам изо всех сил добиваться цели по-хорошему? Мы же говорили, что это только для того, чтобы получить повод восстать против него».

«Пустое. Скажу, что отправили посольство в Спиш, но о соглашении ни слова».

«Хорошо, хорошо. Теперь это наше решение огласите по всей столице. Ты, братец, будешь мне помогать рассылать письма в Хорватию, Славонию, за Дунай и по столицам. Потом, когда все будет готово, поедешь в Спиш».

И все трое ушли в залу, где находились остальные гости.

IV

Надменен Спишский замок, но еще надменнее его хозяин. Да и как ему не быть надменным? – Матуш Тренчанский, хозяин Вага и Татр, бывал тут когда-то, и распоряжался, ни на кого не оглядываясь, по всей Северной Венгрии; он задумал – и появилось, нахмурил брови – и все вокруг задрожало, произнес слово – и свершилось, повел рукой – и исполнилось. Искра обладал сильный умом и могучими плечами; укрощал страны и королей, примирил между собой Чехию, Польшу и Венгрию, владел умами и сердцами всей Северной Венгрии и тоже бывал в Спише. А сейчас – пан Заполы? – Чем он не настоящий король в Венгрии? – Да, почему бы и не быть надменным этому Спишскому замку, если о своих владельцах может рассказывать такое? – А этот пан Заполы, почему бы и ему не быть надменным? Был сыном бедных родителей, стал гетманом дробантов и ушел на войну.

Король Матиаш назначил его главнокомандующим, поскольку был он смел, а сильные плечи имел от рождения, – и напоследок сделал его губернатором всей Австрии. И тогда Заполы подумал: «Хорошо, раз уж я сумел стать кем-то, то должен стать либо всем, либо ничем»; – и, благодаря отчасти уму, отчасти везению, сумел подвигнуть дворян на то, чтобы по смерти его брата Имриха провозгласили его палатином страны. А когда стал палатином, задумался: «Почему бы мне не замахнуться на королевскую власть, поскольку от палатина до короля один только шаг». И с самого начала, едва только был провозглашен, стал всем в стране распоряжаться; начал заботиться о войске, воевал против Польши, неоднократно и на собственные средства, так как в стране никто не хотел платить, никто не желал ни единого крейцера дать в государственную казну; ведь паны ничего не платили, а что могли внести крестьяне, то паны лично себе забирали, а потом говорили, что наступили тяжелые времена, что их подданные не в состоянии платить налоги. Что оставалось делать? Добрые отношения с панами братьями портить не хотел, а свое доброе имя желал возвысить, и раз уж стремился достичь наивысшей силы, должен был что-то предпринимать. Паны земаны обычно лишь тогда опоясывались саблями, закручивали усы и садились на коней, когда им поляки или турки уже на горло наступали; из Будина приходили лишь приказы и просьбы, а о деньгах – ни слуху, ни духу, ну и что тогда должен был делать бедный, несчастный палатин? – Нахмурил брови, разгневался, топнул ногой, написал ругательное письмо в Будин, открыл кошелек и выставил за пару дней несколько тысяч войска, которое было в состоянии посмотреть в глаза и полякам, и туркам. А почему бы и нет? Ведь не было в стране дворянина богаче его, сверх того по стране ходили слухи, что сокровища, которые король Матиаш завещал сыновьям и стране, он забрал и себе присвоил. – Так сложилось, что покуда Владислав в Будине на все предложения, просьбы и вопросы, развалясь в мягком кресле, отвечал: «Хорошо! Хорошо!», – он обо всем заботился и был королем по сути, хотя и не по имени. – Ну и как же не быть надменным господину Заполы, когда обо всем этом подумаешь?

Он и сейчас об этом думает.

В том самом Спишском замке, которому нет равных в Северной Венгрии, поскольку тройными стенами опоясан, пребывал в спокойствии господин палатин; чаще всего он сидел в одной комнате, где писал и читал, где обдумывал все, что должно было произойти в стране. И красива же была эта комната. Мало в ней портретов, как это водится у родовитых дворян,

которые портреты своих предков хранят как зеницу ока, никаких излишних украшений. Одна стена, та, что укрыта дорогими кожами, почти что черная, лишь иногда тут или там блеснет золотая или серебряная рукоять сабли. Представлены тут всевозможного вида и форм доспехи, узоры ружей, выложенных драгоценными камнями, великолепие ножей, чистота труб и отделка золотом и серебром, сверх того – всяческие шнуры, которые объединяют отдельные детали, подчеркивая великолепие всей комнаты, которая так и блестит от золота. В углу у окна стоит дорогим зеленым сукном покрытый стол, за которым господин палатин пишет, а у стола – красным аксомитом обтянутое кресло, в котором он сидит. Над креслом висит портрет, представляющий облик покойного господина Имре Заполы, палатина; возле него с обеих сторон висят гербы Венгрии и рода Заполы. Напротив стола – двери в другие покои замка, а над теми дверями нарисованная красная подушка с золотыми кружевами и кистями, на которую возложены скипетр, меч, золотое яблоко и корона Венгрии.

Господин палатин сидит в этой комнате в полном уединении. В голове у него, должно быть, роятся всевозможные мысли, поскольку беспокойно озирается по сторонам, и взгляд его то на бумаги, которые читает, то на корону, нарисованную над дверью, устремляются, и тогда его большие черные глаза наполняются таким пронизывающим светом, словно вся гордость, вся страсть души выразилась в этом взгляде. Таким и было его лицо, а длинная черная борода придавала ему властное выражение.

Спустя минуту дверь открылась, и внутрь вошел юноша лет примерно пятнадцати; это был единственный сын палатина Ян. Палатин поднялся, а сын вприпрыжку подбежал к нему и поцеловал руку, отец поцеловал его в щеку и посмотрел с любовью.

«Что делаете, отец мой?»

Отец улыбнулся и ответил: «Читаю о тебе, – но ты этого еще не поймешь».

«Не говорите, отец мой, не говорите, что я не пойму. Все же скажите, что делаете». – и присел к нему на кресло.

«У тебя еще будет на это время. Видишь, что там над дверью нарисовано?»

«Как же мне не знать, ведь каждый день ее вижу. Это корона государства».

«И как, нравится тебе это изображение?»

«Хм, зачем меня об этом спрашиваете?»

«Что ж», – усмехнувшись, произнес палатин, – «разве отец не может поинтересоваться твоим мнением? – Ну, так скажи мне, что тебе это нравится».

Палатин улыбнулся и потрепал сына по плечу. «Хорошо, сын мой, хорошо, и мне нравится. А что делает Мариенка?»

«Вышивает флаг. Сходите, сходите, отец, посмотрите, как он красиво выглядит. Герб Венгрии с гербом Заполы вместе, красивым венцом окружены, вышиты чистым золотом, а над ними – надпись: «Vivat Polatinus Regni Hungariae». Только не выдавайте меня, так как она не хочет никому ни говорить, ни показывать, пока не будет готово».

«Зачем же ты мне об этом сказал?»

«Ну, знаете, она меня постоянно дразнит, а когда хочу что-нибудь сделать, тоже выдает. А еще непонятно почему постоянно называет меня маленьким королем».

Палатин рассмеялся, кивнул головой и сказал: «Вот видишь – это я тебя так назвал, – и на меня за это будешь сердиться?»

«Я бы не сердился, если бы всерьез было; но я считаю это насмешкой, когда меня называют тем, кем я не являюсь».

«Хм, но можешь стать, – если бы несколько лет назад тебе было столько же лет, сколько сейчас, тогда посмотрел бы. Видишь, я сын бедных родителей, а кто я сейчас? Ян Корвин из ничтожества стал губернатором, а его сын Матиаш – королем; почему бы и тебе, как Матиашу, не вознестись, коль скоро твоему отцу так же везет, как и его отцу?»

«А все же сын Матиаша не стал королем».

«Да, да, сын мой, чтобы ты мог стать кем-то, другой должен оставаться ничем; как два солнца не могут светить на одном небосклоне, так не могут властвовать в Венгрии Корвин и Заполы».

«Ваша правда, отце! Корвиновцы уже достаточно властвовали, пришло время возвыситься Заполы».

По ходу этого разговора молодой Ян подсел к отцу и так серьезно, так строго себя вел, что складывалось впечатление, будто отец уже не в первый раз ведет с ним такие беседы. Он умышленно не говорит с ним о ребяческих делах и забавах, так как хочет воспитать его человеком, постоянно о том же, о чем и он, мечтающим, и потому неустанно раздувает в нем огонь честолюбия. Когда разговор подходил к концу, в комнату вошел господин Вербочи – приятель Заполы – и поклонился. Палатин протянул ему руку, произнеся: «Доброе утро, какие новости, братец?»

«Несу тебе новость», – ответил Вербочи. – «Прибыло посольство от Корвина из Липтова!

«Так я и предполагал, что Корвин не перестанет ко мне приставать. Известно, что соседи всегда неуживчивы. А кто прибыл?»

«Говорят, что Червень, брат Корвина»

Палатин потер лоб, словно размышляя, а потом произнес: «Это не тот, что в Австрии воевал? Так молод, и так отважно начал».

«Какая же у тебя хорошая память», – ответил Вербочи. – «Тот самый. Был в Черном полку, достаточно постарался, но ничего не добился. Мне всегда казалось, что Матиаш против него всегда таил в сердце какую-то неприязнь».

«Да, это так, и знаю почему. Матиаш выделял мать Корвина из всех женщин, с которыми общался, и свою любовь перенес на ее сына. Во всем отдавал ему первенство, всюду его отличал. Меж тем Червень – бедный, отцом забытый, без матери осиротевший юноша, – пришел в войско в Австрии, там отличился и умом, и мужеством, в то время как Корвин в отцовском шатре отдыхал.

«Да, отец», – сказал молодой Ян, – «я слышал, что Корвин от рождения смел и мужествен, и принадлежит к самым достойным в стране людям».

Отец поморщился на это замечание и ответил: «Возможно, кто-то так и сказал, но это неправда».

Ян быстро произнес: «Ну и что из того, что он наш противник? Я и сам был бы рад, если бы он был одним из самых достойных, ведь превосходство Запалы было бы тем выше и ярче, чем выше и сильнее был бы их противник».

Так получилось, что палатин этой речи не слышал, поскольку говорил, обращаясь к Вербочи: «Когда Матиаш втайне уговаривал дворян, чтобы обещали ему после смерти провозгласить королем его сына, некоторые негодовали, что о втором сыне мало заботится, и этим объясняли свое нежелание возвести на трон Корвина! С этого времени и невлюбил он Червеня».

«Да, и мне показалось», – произнес Вербочи, – «он делал это, чтобы его никто не мог упрекнуть, что он несправедлив, чтобы никто не мог упрекнуть, что только своих сыновей возвышает».

«Ха, ха, ха», – язвительно рассмеялся Запола, – «Вы, господа, сейчас уже все, что Матиаш сделал, готовы объявить справедливым. А прежде? Что при его жизни было попранием прав и свобод, – ха, ха, ха, – сегодня все почитается справедливостью».

«Ну, ну», – отозвался Вербочи, – «ведь я говорю только о том, что почувствовал».

«Хорошо, хорошо», – снова взял слово палатин. – «Если был таким справедливым, если даже отцовские чувства презрел во имя любви к справедливости, почему именно Корвина возвысил, почему ему дал свое родовое имя? Ну, хорошо, хорошо, пусть будет как угодно. Посушай, Вербочи, где остановились послы?»

«В Подграде!»

«Быстро наведи порядок, чтобы полностью перебрались сюда; старайся, чтобы были наилучшим образом устроены, скажи им, что являются для меня самыми дорогими гостями в доме, и обходись с ними, как с лучшими приятелями».

Вербочи покрутил головой, слегка даже улыбнулся, видно было, что удивлен расположением и гостеприимством палатина; тот заметил это и сказал:

«Удивляешься моим начинаниям? Но ты мой старый приятель, знаешь, кого хочу воспитать из своих детей, и так скажу... – Сын мой», – обращаясь к Яну, сказал палатин: – «Пойди к сестре, скажи, что будут гости».

Молодой Ян очень интересовался рассказами отца и знал, что это был лишь предлог удалить его; однако если отец говорит, он должен слушаться – и вышел.

Палатин продолжал: «Видишь, Вербочи, приятель мой! Ты знаешь, кого из наших детей хочу воспитать; было бы хорошо, если бы твой Стефан стал когда-нибудь палатином, и, если даст Бог дожить, увидишь, что так оно и будет. Корвин стоит на пути; знаем, что все еще питает надежды; я тоже, если бы был на его месте, еще надеялся, что страна, убедившись в неспособности Владислава, меня когда-нибудь на трон отцовский возведет. Силу Корвина должны мы сломить; поэтому каждого самого маленького, что на его стороне стоит, должны каким-либо способом на свою сторону перетянуть, а потом – посмотрим, что сделаем. Знаем, что Корвину не нравится возвышение брата и то, что он, хотя и является королевским сыном, стоит так низко. В Червеня верят и ему доверяют люди, дворяне, вот его-то мы и должны каким-либо способом перетянуть к себе, да и других, что придут из Липтова».

«Много таких найдется, поскольку с Панкрацом ты все испортил! И почему не принял его так же хорошо?»

– Кто однажды оскорбит Заполы, кто непозволительно сует нос в его замыслы и пытается их разрушить, того он никогда не простит», – произнес с необычайной страстью палатин, и продолжил: – «Теперь послушай, расскажу тебе и об этом, ведь ты во все мои замыслы посвящен. – Бились мы в Австрии, Матиаш держал войска в высочайшей строгости, и все его слушали, потому что он был королем. Я сам без лишних слов выполнял его приказы, и он меня за это возвысил, за то, что служил ему так, как он требовал, назначая меня главнокомандующим. Я тоже хотел сохранить строгий порядок, но начали возмущаться против меня, и особенно Панкрац, со словами, что никогда так не бывало и не будет; что венгерский земан и на войне свободен, поскольку он добровольно идет сражаться; и с какой стати я ему приказываю, ведь я такой же земан, как и он; что я у них отнимаю права и свободы. Я должен был сохранить порядок, и осадил Панкраца; тот постоянно крутился возле короля, который ему особо симпатизировал, и нашептывал ему: «Не верь молчащему Заполы, ибо опасны люди, у которых сердце безмолвствует». Когда я хотел что-либо сделать, Панкрац всегда вставал на моем пути. – Когда Матиаш стал подумывать о женитьбе Корвина, он уже было склонился к союзу своего сына с моей Мариенкой; Панкрац все говорил и упрашивал короля: «Не делай этого, а то все испортите; наши земаны не будут иметь к вашему сыну доверия, если его жена будет им ровня». Так король и пригласил Бианку Миланскую». – чуть погодя палатин добавил: – «Разве моя Мариенка не была бы его короле-ной, чем все итальянки и француженки?»

«Разумеется», – ответил Вербочи.

«Ну, теперь иди, братец, принимай гостей».

Вербочи вышел, палатин вернулся к своему превосходному столу и задумался. Бог знает, что лежало на его сердце, Бог знает, какие мысли роились в его голове; уж очень выразительно он размышлял, поскольку брови хмурились, рука поднималась, а губы шевелились, словно что-то выговаривая.

Наконец он произнес: «Стыдились породниться с Заполы, пропасть между нами казалась вам огромной, ну так осмотритесь теперь, поднимите свои очи и увидите, достигнет ли ваш взгляд тех высот, где обосновался Заполы и его семейство».

V

В Липтовской столице каждый ломает голову над тем, как пан палатин, гордый своим званием, гордый своей силой, сознающий свои заслуги, принимает липтовских послов; каждый хотел бы простереть свой взгляд вплоть до Спиша, чтобы посмотреть на нынешнее поведение палатина. Однако никто ничего хорошего не ожидал, да многие опасались, что послам беды не избежать, поскольку имеют строгие, твердые инструкции, а господин палатин не позволит себя щелкать по носу.

Однако что в Спише делалось, то в Липтове никому и не снилось.

Послы остановились в Подграде, стали готовиться, совещаться, послали оповестить о своем прибытии в замок и размышляли, как и что скажут, как начнут излагать свои аргументы.

Вдруг пришел Вербочи, пожилой господин, правая рука Заполы, попросил прощения, что посмел войти к ним, и учтиво пригласил их пожаловать в замок вместе со слугами, со всеми вещами.

Господа были этим приглашением поражены, так как ожидали подобного, и один из робости, другой из ненависти к палатину, а третий из недоверия опасались принять это приглашение. Вербочи главным образом возле Червеня крутился, доказывая ему, что господин палатин обидится, если не пойдут к нему, что здесь нет никаких удобств, что за ними тут и присмотреть-то некому. Червень подумал: «Что-то стоит за этими словами – он хочет нас обойти», – и сказал, что им вскоре возвращаться. Однако Вербочи до тех пор не давал покоя, пока они не приняли приглашение.

Пришли в замок. Все их тут приняли как лучших приятелей.

Господин палатин тотчас пригласил к себе.

Когда вошли к палатину, кланялись учтиво, как того требовал обычай, говорили привычные приветствия, он каждому по очереди подал руку, приветствовал их без каких-либо формальностей.

В этот раз палатин предстал перед гостями в повседневной одежде, хотя обыкновенно именно в тех случаях предпочитал роскошь, когда принимал посторонних, главным образом по официальным делам пришедших посетителей; старался внешнему миру показать свою силу, поэтому каждый изгиб на его платье должен был кричать, каждый камешек на его сабле, на одежде должны были говорить, и каждое его движение должно было утверждать: «Я силен! Я могуществен!» Как правило, принимал посетителей из столиц и страны в самой величественной из зал своего замка; сейчас же увел послов в комнату, где обычно работал. Послы этому очень удивились; одному подумалось: «Это все фигли», – другой же, который никогда его близко не знал, не мог надивиться тому, что высший свет к нему так приблизился и принимает его за такого важного человека. Палатин улыбается, глядя на них, просит, чтобы селились и каждому указывает место.

Господа расселись.

Палатин начал говорить: «Простите меня, паны мои, еще раз; к Заполы вы пришли или к палатину, я вас принимаю как Заполы!»

«Мы, если угодно знать, пришли как лично к вашей милости, так и к палатину, и просили бы о скором рассмотрении дела», – произнес Червень.

«Э, нет, нет», – говорил далее палатин, – «у нас достаточно времени для обсуждения важных вопросов, можем немного развлечься и как приятели».

Послы переглянулись, потом посмотрели на палатина и Бог знает, о чем каждый подумал.

«А вас, пан Червень», – продолжил далее Заполы, – «я не видел с тех пор, как вместе с покойным королем Матиашем покинули Австрию. Очень меня утешает, что именно вы ко мне пришли, что могу вас у себя приветствовать при исполнении важных полномочий».

«Мои полномочия действуют лишь до тех пор, пока домой не вернемся», – ответил Червень.

«Ничего, ничего», – произнес палатин. – «Хорошее начало положили и – ваш брат могуществен, у него найдется достаточно поводов отличать вас перед королем, и я – насколько в моих силах, буду стараться вознаградить вашу доблесть».

«Простите, ваша милость», – прервал его речь Червень. – «Свою доблесть еще мало в чем проявил».

«Не будьте таким скромным!» – улыбаясь, продолжал палатин. – «Я помню вас еще по Вене; а в младенце уже угадывается будущий мужчина». – Потом обратился к Штявинскому: – «Вы пан Штявинский, не правда ли?»

«Да, ваша милость».

«С вашим покойным отцом я не раз охотился в Липтове; о, я хорошо его знал, это был честный человек дома и мужественный на войне. Он говаривал, когда наши плечи уставали в сражениях: «Не поддавайтесь, господа, идите, бейтесь; когда вам пуля сквозь голову пролетит, ничего не случится, ведь одна ласточка лета не делает». – Потом, обернувшись к пану Мразу, говорит: – «А вам, пан Мраз, я не раз, когда еще ребенком были, агукал, вверх поднимая, а вы поскрикивали: «Оставь! Оставь меня в покое!» А когда я спросил вас почему, вы ответили, что боитесь меня, «потому что боюсь» («что имеешь bajúzu») сказали. Правда, давно это было, однако приятно человеку вспомнить хорошо проведенное время, как я его когда-то в Липтове проводил. Хорошие у вас люди, веселые, дружелюбные».

«Не всегда, не всегда», – отвечал с некоторой неохотой пан Мраз.

«И это правда, и это правда», – подхватил палатин. – «Липтовские умеют шевелить и мозгами, и руками, когда это требуется. Вот и недавно против поляков липтовские в моем войске, можно сказать, лучше других держались. – Ну да, так оно и было, когда против Турок шли, наши горные столицы так держались, но слава о их мужестве за горы перевалить не могла; однако здесь воздадим должное, тут мы дома и лучше знаем, кто как держался. – Вы, господин Бодицкий, тоже хорошо помогали; а что же потом в Спиш не пришли, когда мы там после войны с поляками собрались? Мне было бы очень приятно вас видеть».

«Там, куда меня никто не звал, ваша милость», – ответил Бодицкий с поклоном и продолжил: – «В конце концов, мы вашу доброту высоко ценим».

«Никто не звал? Разве? Ради Бога, как могли мои люди о вас забыть? – Вербочи, кто ведал тогда домом и всем домашним?»

Вербочи, который еще днем познакомился с послами, был здесь же, и ответил на вопрос палатина: «Ну, точно я этого уже не помню, но кажется мне, что пан Берзевицкий».

«Ну да, да. Однако, паны мои, познакомим вас прежде с моей семьей, а потом пойдем к ужину».

«Мы польщены, но просим вашу милость назначить время, когда бы мы могли представить вашей милости наши вопросы и дела», – произнес Червень.

Палатин ответил: «Ах, если вам так нравится, с большой охотой скажу вам. Но завтра я так занят, что ничего не получится, в таком случае – послезавтра, либо позже. Но ведь времени у нас достаточно, и, кроме того, не повредит, если у меня развлечетесь! Вот что еще, господа», – произнес после небольшой паузы Запола, – «Просил бы вас, чтобы только двое излагали мне ваши дела».

Потом еще много говорил палатин с липтовскими послами; возле каждого останавливался, каждого по имени назвал, о каждом сумел сказать что-то доброе, с каждым разговаривал, как со старым знакомым.

Затем, в соответствии со своим первым предложением, пригласил господ послов проследовать в другую комнату, где их ближе познакомит с семьей; поскольку, заметил, если пожелается здесь дольше развлечься, необходимо ближе познакомиться со всем семейством.

И господа послы, хотя и нахмуренными явились в Спиш, хотя и гневались на палатина, все же, раз уж с ними так обходились, не могли отвечать ему грубо, так как есть у нас обычай – злом за зло, добром за добро. И потому встали, поклонились и поблагодарили господина палатина за его доброту.

«Без каких-либо церемоний, паны мои, исключительно по-домашнему», – сказал Заполы и повел их в другую комнату.

А она-то совсем иначе выглядела. Гигантские зеркала из настоящего литого серебра и стали простирались на расписных стенах, возле окон висели от потолка до самого пола в различных складках красные аксамитовые ткани, на стенах были нарисованы предыдущие владельцы Спишского замка, а вокруг них из всевозможных цветов сплетенные венки. Посуда так и блистала золотом и серебром. Да, красиво все это выглядело, все указывало на королевское богатство.

Однако что значит все это, что значат эта красота, эта расточительность в сравнении с красотой Мариенки Заполы, которая здесь сидит за столиком у окна? Многие ищут богатства, другие – славы, третьи – чинов; однако каждый все это навсегда оставил бы, доведись ему хотя бы раз увидеть Мариенку Заполы.

Палатин ввел господ послов в комнаты своей семьи. Тут сидела возле Мариенки ее тетка, сестра палатина, немолодая уже женщина, которая заменила после смерти ее милости супруги палатина мать и хозяйку в Спишском замке; молодой Ян, красивый юноша, сын палатина, встал при их появлении и поздоровался. – Палатин, представляя господам послам семью, сказал: «Моя дочь Мариенка, моя сестра Анна, мой сын Ян», – а потом, представляя послов, каждого назвал по имени.

Женщины поклонились, и домашние тоже; Мариенка встала из-за стола и так красиво вошедших приветствовала, так выразительно посмотрела, такая утешительная улыбка расцвела на ее устах, что вошедшие забыли о словах, с которыми к ней хотели обратиться, и только любовались девичьей красотой, ее обворожительной улыбкой. Палатин произнес пару слов, Мариенка о чем-то спрашивала, госпожа Анна выясняла, что там в Липтове нового; а юный Ян, быстро сойдясь с незнакомыми, справлялся о господине Корвине, рассказывал о Вене и спрашивал, кто из них там бывал.

Однако разговор как-то не клеился. Палатин с Вербочи ушли курить, Мраз развлекал госпожу Анну, Бодицкий – Яна, а Червень, который ближе всех сидел к Мариенке, лишь слово или два произнесет, Штявинский говорил, но тоже немного, зато Мариенка столько говорила, столько комплиментов высказала, что мало кому больше произнести удастся.

Червень раз и другой украдкой глянул на девушку, а потом, словно боялся на нее смотреть, словно запрещено ему было ею любоваться, потупил взгляд, бледное лицо его покраснело; а когда Мариенка его о чем-то спросила, он не нашелся что ответить, задумался, что, должно быть, выглядело неприлично. Пришел палатин, слуга пригласил господ к ужину, и все вышли.

За ужином Червения посадили рядом с Мариенкой, хотя он достаточно тому противился, палатин обособился с Мразом, который из всех казался самым твердым, самым решительным, беседовал с ним и веселился; а когда вновь и вновь через стол Червения о чем-то спрашивал, то, обыкновенно, на три вопроса получал один ответ, поскольку тот либо не слышал, либо не хотел услышать. – Палатин пристально глянул на него, на свою дочь, которая непрерывным щебетанием своего соседа забавляла, и с улыбкой сказал: «Эй, господин Червень, что-то вы на стариков не обращаете внимания!

«Что угодно вашей милости?» – спросил Червень с некоторым замешательством.

«Я уже три раза вас спросил, что за известия поулчил князь из Будина; если верить слухам, да и господин Мраз мне говорил, турки напали на Валахию, – а вы не слышите. Кажется мне, что вас наш стариковский разговор не занимает».

«Ах, да. Не могу вашей милости этого сказать».

«Ну, ну. Сам испытал. Что же за предмет вас занимает?» – спросил палатин.

Червень хотел ответить, но не знал, что сказать, хотел с палатином завести разговор, но не получалось, думал на другую тему перейти, но не знал с чего начать. Мариенка, видя затруднения своего соседа, ответила отцу: «Позвольте, папа, нам это между собой оставить».

Палатин улыбнулся, покрутил головой и сказал: «Ну, да вы в самом деле уже завели меж собой тайны!»

«А почему бы и нет?» – с легкостью ответила Мариенка и тотчас, обернувшись к своему соседу, вернулась к прерванному разговору.

Ужин завершился. Палатин сказал господам «Доброй ночи!», они поклонились, Мариенка сказала «Доброй ночи!», они тоже поклонились, однако Червень, когда она на него с улыбкой устремила взгляд, не мог ей так же ответить, как другие, а только негромко, словно про себя, прошептал: «Доброй ночи!»

Все разошлись по своим комнатам, только Заполы с Вербочи остались вдвоем. Палатин сказал своему приятелю: «Задержу их здесь как можно дольше, когда у нас немного освоятся, уже не смогут так дерзко держаться; а когда ничего не добьются, себе будут приписывать поражение. Крутись возле Червеня и Штявинского, Мраза оставь в покое, поскольку этот едва ли не шипит от злости. За ужином мне много такого наговорил, чего в другой раз не стерпел бы. Завтра утром разгвор с Червенею. – Доброй ночи!»

«Доброй ночи!»

VI

Когда солнышко на небе встает, вся округа вздрагивает, некая величавость проступает на лике земли, некое тайное чувство ложится на сердце человека, поскольку жизнь превозмогла в темноте ночи смерть и каждое существо с новыми силами идет навстречу дню, который готовит ему много доброго, много злого. Прекрасно сердце человека в час восхода солнца, поскольку все чувства и ожидания находятся в братской гармонии, а человеку, который ничего не знает, так хорошо на сердце, так легко на душе, что обнял бы в немом восторге весь род людской, все сущее.

И все же когда человек пристальнее оглядится вокруг, он увидит, что тут и там находятся люди, которые ни с восходом, ни с закатом солнца не испытывают облегчения на сердце, что не вступает в их души тайное созвучие всех сил и могущества, не бывают они освежены тайным пособничеством ночи. А все потому, что душа страдает, чувствует и сама сопротивляется всякой помощи, что сама не позволяет себе помогать. Такие-то ночи скорее берегут раны сердца, чем лечат их. Рассвет еще болезненнее, чем наступление темноты, поскольку в сумерках много болезненных ощущений пролетает сквозь сердце, и каждое оставляет жало в том месте, которое наиболее чувствительно у человека. – Познал я такие ночи.

Вышло великолепное красное солнышко над Спишским замком и так осветило все окрестности, что выглядели они как девушка, которая не иначе как к венчанию нарядилась. Вышло, посмотрелось в окна замка как в зеркала, и нашло в одном из них юношу, который неотрывным взглядом смотрел на окружающий мир и, размышляя, казался погруженным в себя.

Это был Червень. С вечера, ночь напролет, вплоть до рассвета стоит он у окна, глаз не сомкнув, не отдохнув, даже не помышляя о сне, поскольку другое волнует его душу, иное занимает мысли. Солнышко его приветствует своими горячими лучами, а он этого не чувствует, только глаз отреагировал, только глаз, не вытерпев жара, закрылся, отчего юноша вздрогнул и тут только заметил, что наступило утро.

Словно от сна пробудившись, осмотрелся вокруг, задумался и сел к столу, где лежали разбросанные бумаги. Принялся что-то писать, приводить в порядок, но дело не клеилось.

Оперся головой на ладони и так сидел.

Раздался стук в дверь, другой, и только на третий раз он отозвался. Двери отворились, и в комнату вошел пан Мраз, уже полностью одетый, прямо сейчас готовый предстать перед самим господином палатином.

«Доброе утро! Как спалось?»

Червень произнес: «Доброе утро!», – а в ответ на вопрос только головой покачал.

«Ну, должно быть тоже хорошо спали, как я, поскольку так же рано встали. Мне в этом дьявольском гнезде ничто не по вкусу. – Пришел к вам посоветоваться и спросить, что мы должны делать. Палатин нам тут хочет своими обедами уста, а своей приветливостью глаза залепить, чтобы мы не видели, что он делает, чтобы мы как можно скорее с ним поладили».

«Это мы должны обсудить все вместе, потому подождем, когда другие встанут».

«Да, для них самая первая их работа – это сон», – сказал и пошел в соседние покои, где отдыхали два других посла. Червень остался один. Вернулся к столу и стал приводить в порядок бумаги, ибо когда еще удастся уделить этому внимание, а как глава посольства он должен был все содержать в порядке. Во время вчерашнего внезапного переезда в замок многое туда-сюда завалилось, возник беспорядок.

Немного времени спустя пришли и Штявинский, и Бодицкий с Мразом, которые приветствовали Червеня. Тот сказал с улыбкой: «Ну, с удовольствием поспали бы еще? Видите, какой он», – указал на Мраза, – «немилосердный, раз уж сам не может спать, так и другим не даст сны досмотреть».

«Ну, пан брат, только не выскочите из кожи», – произнес Бодицкий.

«Что нам пустые разговоры», – ответил Мраз. – «Оставьте в покое. Я думаю, как нам скорее попасть к палатину и приступить к нему с вопросами. Зачем напрасно тратить время, если знаем, что оно нам дорого, что князь должен как можно скорее узнать, как обстоят дела».

«Но и то надо учитывать, что нельзя от нас требовать невозможного, а кроме того выбрались мы в воскресенье. Пан палатин сказал, что сегодня не сможет нас выслушать», – говорил пан Червень, на что Мраз возразил:

«Как угодно, а мне здесь все одно что в пекле, поскольку мне эта приветливость палатина душу жжет; достаточно жестко хотел с ним вчера обойтись, однако он меня так красиво обошел, что я и не понял, словно мы бог знает где были. Я тут не могу оставаться».

Штявинский улыбнулся, бросил взгляд на Червеня и сказал, кивнув его сторону: «А Червеню, несомненно, еще не хочется».

Тот на него посмотрел и спросил, почему он так говорит.

«Да бросьте вы, словно все мы вчера не видели. Сдается мне, вы всю ночь не спали.

Это задело Червеня, который, потупив взор, ничего не ответил. А Штявинский продолжал: «Заполы это тоже заметил, потому и задерживает нас. Братец, не было бы беды. Потому и хочу поскорее отсюда», – Штявинский говорил это Червеню, который лишь улыбался и не смел поднять глаз, ибо хотя и чувствовал, и догадывался, но не знал, что за перемена произошла в его сердце. Он понял намек и даже испугался, поскольку всю ночь не сомкнув глаз, думал, сам не зная о чем, слово «она» витало над его душой, но кто эта «она» – ему не приходило в голову. Теперь же все прояснилось, он понял, о ком были его мысли, и почему сон не укутал его своим покрывалом.

Испугался сам за себя.

Штявинский так язвительно на него посмотрел, что Мраз сказал напоследок: «Оставьте. Я думаю, что или завидуете ему, или хотите, чтобы и вас кто-нибудь так же наказал. – Чему тут завидовать? Будь на ее месте даже королевой внеземной красоты, она – дочь Заполы, и значит – всему конец. Ну, пан брат», – обратился он к Червеню: – «восстановите же порядок и скажите, с чего нам следует начать».

«Я думаю, что сегодня нам следует успокоиться, а завтра должны добиться от палатина решения».

«Коли так, хорошо», – ответил Мраз, – «но я не желаю, чтобы и завтра нечто подобное повторилось, иначе сбегу отсюда и весь Липтов против вас взбунтую».

«Все равно», – со смехом проговорил Штявинский, – «взбунтуйся хоть целый свет, он на это внимания не обратит, вот если черные очи сверкнут, так это его скорее заденет». Червень, кажется, рассердился и ответил: «Возможно, с тобой так оно и происходит, но я докажу тебе, что человек не должен бояться ни бури, ни черных очей».

«Правильно говорите», – поддержал Бодицкий, – «ибо тот, кто боится, уже проиграл битву».

«Вы говорите по-военному», – отозвался Штявинский, – «Однако между войной и черными очами большая разница, поскольку в последнем случае победа возможна лишь там, где обе стороны проиграли. Разве ты возражал бы, чтобы и она проиграла?» – сказал Червеню и вышел вслед за другими.

Он остался один. Слова приятеля, одно за другим, вспоминались ему, и он радовался, что услышал их, но и огорчился, что их услышали другие. Однако сейчас уже иначе чувствовал себя, иначе думал. До этого было какое-то неосознанное, темное, глубокое ощущение, которое тяготило его сердце, было причиной его беспокойства. Как это обычно случается, мы часто делаем, думаем и чувствуем то, чего сами еще не осознали, что для нас лишь со временем станет очевидным, когда нам это другие укажут, либо назовут причину, чтобы мы присмотрелись и увидели.

Однако недолго он пробыл в одиночестве, поскольку вошел пан Вербочи, и как раньше, так и сейчас очень приветливо поздоровался.

«Очень удачно зашли, я и сам хотел переговорить с вами, поскольку знаю, что вы нам скорее других поможете».

«Весьма признателен», – сказал Вербочи, – «все, что в моих силах; но многого не стоит ожидать», – добавил с улыбкой, – «поскольку и я здесь всего лишь гость».

«Это не сложный вопрос», – и давай его спрашивать, как бы им побыстрее договориться о встрече и переговорах с палатином. Вербочи пообещал и удивлялся, куда господа так торопятся, почему они беспокоятся? Червень отвечал обычными словами, которые вынужденно говорят тогда, когда достаточной причины либо нет, либо говорить о ней нежелательно.

«И в первую очередь вам удивляюсь», – сказал Вербочи. – «Вам, которого так по-доброму у палатина принимают. Не знаю, что вас так домой гонит?»

«Знаете, мы послы моего брата, и как нам указано, так и должны поступать».

«Но день или два – это пустяк. И, кроме того, неизвестно, кто для вас важнее, брат, который для вас ничего не делает, или господин палатин, который вас любит как собственного сына. Да, если бы вы знали, как господин палатин о вас говорил, когда зашла речь о вашем брате, уж и не знаю, что бы вы об этом сказали».

Червеню все это показалось удивительным, но он не хотел ничего отвечать и промолчал. Вербочи подождал ответа, но, не дождавшись, продолжил: «А жалко, что Корвиновцы и Заповцы так косо поглядывают друг на друга; и видит Бог, не Заповы тому виной. Он же ничего против того не имел, чтобы липтовский князь был обвенчан с его дочерью, и поскольку собственное дитя готов был отдать ему в жены, никак не может его ненавидеть».

«Я с паном Заповы знаком только с чужих слов, а так приятно было бы поскорее познакомиться с ним лично».

«Вы этого желаете? Это доставило бы палатину удовольствие».

«Я имею в виду, чтобы мы могли бы представить наши дела».

«Вот как? Это хорошо. Имейте терпение, и все ваши ожидания сбудутся».

С тем и ушел. «Что это были за слова? Заповы любит его как сына. – Почему? Зачем? – Не сам ли Заповы так Вербочи настроил? – Чтобы следовал за Заповы? – Да, судные дела – трудная загадка. Что говорил Штявинский? Разве не факт, что палатин о нем красноречиво сказал то, что его друзьям не понравилось. Разве он это не с умыслом сделал? – Нет, он не был, да и не может быть таким мелочным и низким. Свет может как угодно подумать, но от вердикта, который он нам вынесет, зависит наша вера в справедливость».

Вербочи вернулся. «Да вы удачливы, как вижу», – сказал Червеню, – «Ну просто любому вашему желанию, едва оно только в душе зародилось, уже находится удовлетворение. Представьте себе, дела, которые господин палатин сегодня должен был решать в Спишской столице, отложены, поскольку господа комитатские и депутаты, которые должны были явиться, так заняты, что просят господина палатина обождать. И поэтому, как вам того хотелось, можете представить его милости ваши дела».

Червень был ко всему готов, поблагодарил Вербочи, позвал Мраза и пошел к палатину. Вербочи, едва оставшись один, направился к Штявинскому, который не хотел отказаться от такого важного для него визита. Долго уговаривали Бодицкого, чтобы оставался дома, поскольку вчера господин палатин для облегчения обсуждения попросил, чтобы лишь двое излагали претензии

липтовского князя; но пан Бодицкий сказал, что он такой же посол, как и другие, и потому тоже идет со своими полномочиями к палатину.

За зеленым столом в красном кресле в красивом черном аксамитовом кабинете сидел господин палатин, и хотя одет был обыденно, все же по внешнему виду его сразу угадаешь, что это не обычный человек, что сила и власть пребывают в его руках.

Все три посла вошли. Палатин слегка поклонился и просил садиться, говоря при этом: «Прошу вас, излагайте свободно, без бумаг, потом мне их оставите. И последнее, скажите, являются ли официальными те дела, которые вам господин князь поручил передать, или в большей степени они лично меня касаются? Если официальные, я должен позвать писаря».

«Не нужен тут никто», – кратко ответил Мраз.

Червень начал говорить: «Пан князь просит вашу милость, чтобы в следующих пунктах изволили восстановить справедливость. Во-первых, чтобы господам Шовдовцам, из Липтовской столицы, Швонавы назад вернули».

«Отвечу вам», – сказал Заполы, – «что это совершенно невозможно, поскольку по свидетельствам и документам Швонявы являются не уроком Шовдовцев, а собственностью Спитшской капитулы, и если отобраны у Липтова, то сделано это на основе права».

«Если бы мы видели эти свидетельства», – ответил Червень, – «то могли бы это принять как истину; однако сколько лет ведется процесс, тех свидетельств никто не видел».

«Уж во всяком случае, господа, их видел я, а мне, надеюсь, вы верите?»

«Как когда», – ответил Мраз.

Палатин прикусил губу и сказал, чтобы продолжали далее.

Червень начал:

«Во-вторых. В Жибритове владетельные господа у своих подданных без каких-либо причин отняли все имущество и выгнали их прочь, когда они возбудили дело, господин палатин принял сторону земанов, хотя правда на их стороне. Липтовский князь просит его милость господина палатина еще раз рассмотреть это дело и Жибриковским крестьянам учинить удовлетворение».

Палатин улыбнулся и сказал: «Господа, я не вижу, что тут могло бы заинтересовать князя. Что касается крестьянских земель, вы знаете, что я служу землевладельцам, поэтому, когда господин отбирает землю, он берет лишь свою собственность».

«Хорошо, хорошо, господин палатин», – заговорил Мраз, – «но тут иначе обстоит дело. Крестьяне платят свои налоги и выплаты, землевладельцы их присваивают, а потом, когда столица спрашивает налоги, тут уж пан обирает своего крестьянина до нитки и гонит прочь, а господин палатин берет его сторону. Вот именно это и заинтересовало господина князя. Да, иначе было дело при Матиаше! Не было такого, чтобы крестьянин не мог найти правды».

«Хм, я не ответчик за то, что при Матиаше было иначе, я его не убивал», – с особой язвительностью изрек Заполы. – «А что касается этого дела, то иначе я поступить не мог, поскольку господин имеет право на земли своего подданного, и дело следует рассматривать господской столице, а не мне».

«Но нет права его обманывать. Речь не идет о том, когда крестьянин не выполняет своих повинностей, пусть делает с ним, что хочет, но когда все повинности исполнены, пусть же оставит его в покое. Да, господин палатин», – говорил далее Мраз, – «если мы думаем, что имеем на что-то право, то не должны смотреть сквозь пальцы на права другого, а именно так и происходит с тех пор, как умер Матиаш; да, нет уже справедливости».

«Пан Марз», – высокомерно произнес палатин, – «придержите язык за зубами, поскольку не могу на ваши грубости ответить тем же; но тем, кто касается моей особы, я знаю способ закрыть уста».

«Да, знаете, знаете, высокомерный палатин, знаете. И правде уста затыкаете, и князю липтовскому с радостью уста заткнули бы; и королю с удовольствием заткнули бы уста, и только тем дозволили бы говорить, кто вместе с вами квакает. Да, вспомните Шекели? Вспомните Черный полк? Хорошо, хорошо, мы уйдем от вас прочь, чтобы и нам уста не заткнули; но будем говорить, кричать будем, до чего палатины Венгрии дошли, словно с неприятелем обращаются с

венгерской землей, против Корвинов по всяким мелочным причинам ради собственной выгоды втайне работают. И будем кричать, кричать, пока у пана палатина не загудит в ушах!» – и с этим вышел вон.

Пан Бодицкий вышел следом за ним. С какой целью? То ли так же думал, как Мраз, то ли хотел его успокоить? Того не ведаем.

Палатин стоял, словно громом сраженный, разгневался не на содержание речей Мраза, а на то, что кто-то отважился с ним так разговаривать; впервые в жизни его уши услышали такие слова. Он краснел и бледнел, глаза его кровью налились, и подбородок задрожал. Он встал и посмотрел на Червения, обдав его каким-то необычным взглядом, в котором и пренебрежение, и ненависть, и злость, и какие-то тайные надежды перемешались. Червень тоже встал и сказал:

«Простите, ваша милость, простите, что так произошло; припишите это в большей степени личности пана Мраза, а не нам или Липтову, или моему брату».

«Вашему брату? – Разумеется, это его наука, из его школы вышел Мраз, либо его Панкрац воспитал. Во всяком случае, Мраз эти слова не на улице нашел. Однако тут говорит Заполы, и он не потерпит оскорбления ни от кого под солнцем, и покажет Корвину, что значит касаться его имени!»

«Но, Бога ради, пан палатин, не приписывайте этого Корвину!»

«Ему, ему! Но не тебе, поскольку тебе еще нечего Заполы в глаза бросить, а у Заполы, хоть ты и приходишь из Корвинов, есть надежда на тебя; но твоего брата, где только будет возможность, настигну и низвергну в пропасть, поскольку опозорил Заполы.

«Нет, не так, пан палатин, он против вас ничего не имеет, только просит, чтобы дали справедливые ответы на его вопросы».

«Я ему ответ? Хотел дать, но сейчас укажу, что я палатин! Ничего ему не отвечу, пусть все остается так, как есть. – А вы, господа, оставайтесь здесь, у меня, и увидим, что удастся сделать; возможно, что вы, отцом и братом обездоленный, сядете на княжеский трон, на котором сидит ваш брат; поскольку Заполы могущественный, и Заполы это вам обещает».

«Простите, я даров не принимаю, особенно когда это может стоить мне убеждений, моей свободы и моей чести».

«Значит, и вы боретесь против Заполы, и вы набрались корвиновского духа? Правда, и вы Корвин, и как день с ночью не могут сойтись, поскольку пожирают друг друга, так и Заполы с Корвином сойтись не могут».

«Я, поверьте мне, ни с вами как с личностью, ни с моим братом, поскольку знаю, что друг друга ненавидите, что оба и на словах и в делах преследуете разные цели; но поскольку мой брат желает уберечь страну от гибели, я должен быть с ним; поскольку вы своеволию в стране способствуете, неизвестно почему принимаете сторону людей бесчестных, я против вас!»

«Против меня, слабый господинчик? И что от этого получишь? – Ну иди к своему Корвину и скажи ему, что Заполы отказывает, пока хоть капля крови в его жилах течет, он не забудет слова Мраза, и что не успокоится, пока его собственных людей на свою сторону не перетащит, так что когда он будет лучшего друга к груди прижимать, в это самое время он будет пить из сердца кровь и относить ее к Заполы; что Заполы узнает о его мыслях еще раньше, чем они его собственную душу пронзят, что собственная тень будет предавать его Заполы. – Так Заполы отомстит за одно единственное оскорбление!»

Палатин с такой страстью договаривал эти слова, какой Червень еще не видел в жизни. Но что с ним поделаешь? Страсть – это поток, против которого невозможно возвести плотину, поскольку она и плотину, и людей, и горы, и доли с собой увлечет, и уничтожит в стремительном беге. Червень оставил комнату и ушел собираться в дорогу.

Заполы остался один. Только сейчас он осознал, что натворил, только сейчас ему увиделось перед зеркалом своей души все, что может произойти из-за его возбуждения; ибо все, о чем думал, какие планы строил, что таил от других, все это открыл и, Бог знает, чем это обернется. Ведь страсть обычно сама себя разоблачает, и никогда не случалось, чтобы себя покрывала.

Вот и хмурил брови тот господин палатин, прохаживаясь быстрым, порывистым шагом по комнате. Внезапно остановился и произнес: «Ну и хорошо, пусть узнает то, о чем давно уже догадывался, пусть узнает весь свет о том, чего я хочу и как хочу, Заполы достаточно силен, чтобы добиться своей цели без всякого притворства».

Едва это договорил, в комнату с веселым лицом вошел Вербочи. Замер, пораженный переменной в выражении лица палатина, и только на вопрос: «Что нового?» – ответил: «Все хорошо, говорил со Штявинским, это человек, которого можно полностью склонить на нашу сторону, стоит только обойдись с ним поласковой».

«Сейчас? По-ласковой? – Ну, хорошо, ублажим, поскольку мне нужны такие люди. Если позволит себя склонить и предаст своего господина, отлично, будем водить его на золотой цепочке, покуда за подлость не швырнем его в пропасть, в которую он завел своего господина; будем держать приманку у него перед глазами, и до тех пор не позволим ее съесть, покуда сам себя не ввергнет в морские глубины, в земные пропасти – да там и не сгинет».

«Эй, братец, не думаю, что надо так поступать с людьми, которые протягивают нам руку помощи!»

Однако Заполы поморщился и сказал: «Действительно, мне нужны такие люди, но прежде они станут предателями; а чтобы и со мной так не поступили, как со своими предыдущими господами, мы не позволим им пользоваться нашей приязнью».

«Только не спеши, мы еще ничего не добились. Я говорю, что его можно склонить на нашу сторону, поскольку сам слышал, как он говорил, что не понимает, как свет может так тебя оскорблять, что он тебя совсем не таким увидел, каким представляли; вот и все».

«Тогда приведи его!»

Вербочи вышел и немного погодя пришел со Штявинским, который был совсем изменившимся, испуганным. «Что случилось?» – спрашивал. – «Наши люди все собираются, готовятся домой, и как-то зло озираются».

«Пусть озираются», – говорит Заполы. – «Я хотел бы обменяться с вами парой слов, поскольку знаю, что и вы уедете. Как я вам уже говорил, я был приятелем вашего отца, в память об этом хотел бы и для вас кое-что сделать. Нам потребуется каштелян в Зомбергский замок, был бы рад предложить вам это место, как сыну моего приятеля; вы бы его приняли?»

Штявинский и сам не знает, что ему делать, не понимает, как и откуда такое счастье привалило ему, бедному земану, и кажется ему несбыточным то, что предлагает господин палатин. Но вспоминает он о том, что стоит у него на пути к такому хорошему месту, и спрашивает: «А разве с Червеном о Замборге, который пан князь просит отдать, поладили?»

«Он еще спрашивает», – язвительно засмеялся палатин. – «Поймите, ничего из этого не получится, поскольку у Корвина нет прав на Замбор, Замбор всегда принадлежал палатину страны, и поэтому только палатин имеет на него права. Для меня ничего не значит, присудил ему кто-то или нет; и достаточно об этом, мне следовало бы проклинать мое положение, ибо если бы позволил тем щедрым господам хозяйничать так, как это делали, когда Корвина наделили столькими поместьями, уже не сегодня – завтра королю пришлось бы идти побираться, а палатин должен был бы как слепого водить его от дома к дому».

«Но это другое», – проговорил Штявинский, – «Это Владислав в Левоче несправедливо рассудил, и Корвину не за что на вас обижаться».

«Это он лишь для того делает, чтобы людские сердца от меня отвратить, а все из-за того, что сам довел страну до того, что Владислава, а не его провозгласили королем».

«Пан князь все, что делает против вас, делает для усиления своей власти, и потому, что все в стране делается плохо».

«Верьте только этому. Часто человек под знаменами святых идей бьется за свое личное. – Корвин вам кивает на своего отца, гворит, что сейчас в стране плохо, поскольку страна слаба, палатин несправедлив, но только гляньте, что вы, венгерские земаны, сами за несколько лет до этого говорили; тогда увидите, что я ничего другого не делаю, лишь то, чего и вы требовали. Матиаш у вас отнимал свободу, распорядился вами, как крестьянами, делал в стране, что хотел,

вы на это косо смотрели, поскольку вам это не нравилось; а сейчас, когда защищаем ваши земанские права, обращаемся с вами, как с земанами, и на том стоим, чтобы Владислав судил на основе права, вы говорите, что в стране все плохо. Скажите мне, кто вам угодит? – Ну да оставим это. Действительно, примете каштелянство в Замборе?»

«Я, ваша милость, могу только благодарить».

«Ну а охранять земанские права?»

«Желаю. Желаю».

«Хорошо, тогда отойдите от Корвина, который бьется против вас».

«Если Корвин такой, как вы говорите, могу его бросить с чистой совестью».

«Не верите тому, что говорим?»

«Верю, верю», – ответил тихо дрожащим голосом Штявинский, словно стыдился, что ради личной выгоды бросил человека, которому до сих пор верил. – Чудно сердце человека, в мечтах обещает все, хочет служить добру, а придет время держать слово, ради выгод, комфорта, возвышения, собственности оставляет предмет своего воодушевления. Увы, воодушевление, хотя и сильное, хотя и связано с каким-либо святым делом, не сохранится и не удержится там, где ему что-нибудь реальное предлагают; увы, непрочно превосходство души, не может она противостоять всем, кто хочет уничтожить их помыслы. Лишь великие души не смотрят на выгоду и следуют за своими убеждениями.

«Хорошо, пан», – говорит Заполы, – «исполняйте свою службу в Липтове и в Будине, потом пойдете в Замбор; но с этого дня считаем вас своим союзником, и даже плату будете получать. Узнайте тайны князя и познакомьте меня с ними. Особенно старайтесь рассорить с ним Червения».

VII

Тоскливая мгла лежит над Липтовом, туман накрыл округу, не видны вершины, не видны также и деревни, и деревья; птицы не щебечут в полях, так как сбежали под крыши домов, спрятались меж деревьев и отряхивают там повлажневшие от тумана грудки и крылышки. Человеку не хочется выходить из дома, поскольку какая-то темная, непонятная тоска засела у него в груди, и не знает он, почему не скучает о видах природы, почему не грустит о солнце, утонувшем в густом тумане; прижимается он к груди другого человека, ожидая веселья и ощущая, как сердца дорогих ему людей бьются напротив.

Да, всюду грусть, во всем чувствуется погружение в тоскливую вялость, ибо каким взглядом смотрит солнышко на природу, таким и природа ответит, цветок открывает глаза и взывает к солнцу, своему возлюбленному, чтобы пришло, чтобы заглянуло в его голубые глаза и поцеловало его личико, утомленное грустью, или их закрывает, плачет наедине, и мечтает о прекрасных минутах, когда со своим возлюбленным, не задумываясь о будущем, как мотылек с мотыльком, играло. Только человек, гордый, задумчивый человек, хмурит глубокомысленно брови и, словно всей природе наперекор, думает о приятном, находит способы удовлетворить свои желания; ибо если он только захочет, ничто не изменит его убеждений, никто не остановит его замыслов, кроме достижения желанной цели.

И возле Ликавского замка туманы так заплелись, что замок укрыт ими, словно старец сединами, словно месяц солнечными лучами; и в ожидании дня видно, что люди угнетены туманным состоянием природы, что горит на их лицах огонь, губительный для их натуры.

Пан князь выглядит взволнованным, говорит немного, но его лицо омрачено, взгляд горит чудным огнем, того и гляди, загорится все, что ни есть рядом с ним, смотрит вниз в одну точку, кусает губы и слушает, что говорит пан Штявинский. Потом Мроз взял слово:

«Но, ваша милость, не осуждайте его и не полагайтесь всецело на наши слова, покуда его самого не выслушаете, возможно, что мы ошибаемся, и потому вам говорим, что это лишь сплетни; поскольку, слыханное ли дело, чтобы Корвин с Заполы мог сойтись?»

«Достаточно и того, что говорите!» – сказал князь, – «знаем, как это случается, когда человек попадает в силки любви, знаем, что такой человек не владеет собой; и потому, даже если тысячу раз клянется, не верь ему, поскольку придет мгновение, когда проклянет свои клятвы. А что Заполы, разве он этого не заметил?»

«В первый вечер», – говорил Штявинский, – «казалось, что все заметил. – Вы же знаете, что это невозможно скрыть. – Затем о секретах заговорил, которые они вдвоем за такое короткое время меж собой завели – и он ничего на это не ответил!»

Штявинский умолк и долго смотрел на князя, словно наблюдал, как подействовали его слова; потом, поскольку князь молчал, словно желая и далее снова и снова слушать, словно для него эти неприятности не имели значения, стал говорить далее: «Потом, когда ушли Мраз с Бодицким, он остался с палатином один на один. – О чем меж собой говорили, не знаем; только то вам можем еще сказать, что когда мы уходили, Заполы произнес: «Будьте здоровы, всего доброго вам желаем, и не забудьте, – сказал с улыбкой, – поздравить вашего брата так, как я вам сказал».

«Ну, пан брат, вы знаете, что я Заполы в ложке воды утопил бы, если бы мог, так я ему ни в чем не верю. Возможно, он просто хотел Червеня разозлить, или навести на него подозрения».

«О чем Заполы думал, того сказать не могу, что сам видел и слышал, о том и рассказываю. – А знаете ли, что ему из Спиша уезжать не хотелось?»

«Действительно», – ответил Мраз, – «мне его спокойствие не понравилось; знаете, я бы сам с радостью как гром обрушился на неприятеля и первым же выстрелом разбил бы ему голову, но разве он виноват в том, что в Спише думал иначе, чем я?»

«Хватит об этом», – снова взял слово князь, – «кто любит дочь Заполы, тот не может его ненавидеть, а он в вечной ненависти к нему клялся; тот не может любить его неприятелей, а он нам клялся вечной верой, он был моим союзником. Покуда в моих жилах течет кровь великого Матиаша, желаем, будем, и должны бороться против всех, кто оскверняет славу Матиаша. И посему погибнет каждый замысел, который помогает замыслам Заполы, умолкнет и исчезнет каждое чувство, которое сознательно или несознательно не соединится с нашим чувством; пусть будет уничтожено каждое действие, которое помогает тому, против чего мы боремся, против чего выступаем все вместе».

Старый Панкрац, как обычно, когда в Ликаве что-либо случается или должно случиться, был тут и слышал разговор, не вмешиваясь в него; и все же произнес с какой-то ему не присущей важностью: «Неужели ваша милость это про Червеня говорит?»

«Да, именно, поскольку сейчас он может поколебать основы наших великих замыслов, ибо хоть он и одних с нами убеждений, но сердцем будет к тому тянуться, что мы проклинаяем».

«Но, пан князь», – заговорил Мраз, – «успокойтесь. Пусть даже ему еще больше ста лет, разве он болячку саблей вырежет, разве прижжет огнем наших ружей? – Да, вы правы, это грех – таить в сердце даже самую малую склонность к заповоццам; но вы неправы, когда решаете только со слов других, не спросив о том его самого».

«Не спросив? Спросил я его, а он сказал: «Да, тебе, как брату, скажу: действительно, я люблю ее, не знаю почему и отчего». А когда наводил его на мысль отречься от всего, набросился на меня со словами: «Неужели ты думаешь, что человеческое сердце недостаточно велико, чтобы объять и три света? Разве человек не может любить, и при этом сохранять верность своим святым убеждениям?» Когда же я спросил его, намерен ли он оставаться со мной, будет ли поддерживать мое дело, он ответил: «Насколько оно честное, насколько можешь от меня требовать – да!»

«Вот сейчас вам верю, пан князь», – ответил Мраз. – «Это слишком. Такого не снес бы никто из корвиновского лагеря».

«И что же решили, пан князь?» – спросил Штявинский.

«Ничего. Как я могу доверять ему руководство моими сторонниками, связывать со мной людей, клятву верности принимать от моего имени, когда он клятвам своим не верен или, по крайней мере, ни во что их не ставит? – В Турц пойдет другой. – А где окажется он, мне все равно; лишь бы держался от меня подальше, если ему Заполы милее. Пусть его присутствие не позорит наш союз, который заложен на честной основе. – Пусть никогда не показывается мне на глаза, поскольку вид моей крови в нем только будоражит мою кровь во мне. Пусть идет и передаст все, что знает, все, что от меня услышал, я от него навеки отрекаюсь, не признаю в нем мою кровь, поскольку если бы была в нем хотя бы капля схожести или единокровия, никогда бы не смог склониться к неприятельской стороне; либо та кровь, которая в нем течет, настолько отступническая, настолько испорченная, что не видит своего позора и унижения, не понимает, что Заполы и ему главный неприятель. – Итак, навечно между нами пропасть, вечно пусть держится от нас вдали, чтобы даже его дыхание не портило воздуха, которым дышит Корвин!»

«Постойте, постойте, гордый князь», – страстно заговорил Панкрац, который сразу вскочил и встал перед князем, – «Подождите и задержите горячие слова в глубинах своей груди, поскольку если их дальше выпустите, сожгут все, что есть около вас, а вы, мне думается, не станете сильней от пожара. – Помните ли свою клятву, когда сказали, что тот, кто или союзу, или одному из вас окажется неверным, заслуживает смерти! – Если Червень заслужил, то шепнем ему на ухо его обещание; однако, если вы его лишь за любовь осуждаете – стойте и

отвечайте старому Панкрацу, ибо Панкрац говорит, что вы таким образом Червеня бросаете, – и в таком случае, гордый князь, чего вы заслуживаете?»

Князь на шаг отступил назад, не зная, что ответить, поскольку не был готов к такому отпору; вспотел, и кровь ударила ему в лицо, его юная рука приподнялась угрожающе. Однако когда его взгляд встретился с взглядом Панкраца, рука опустилась, и вся его фигура приобрела удивленный облик. Мраз смотрелна это, не понимая, что происходит, чью сторону он должен принять; о присягах и обещаниях, о которых Панкрац и князь упоминали, ему не было известно, а без этого он не мог понять, что происходит между ними; однако Штявинский, который знал, что и зачем он делает, выступил и возвышенным голосом произнес:

«Пан князь, зачем позволяете говорить вам такие слова, неужели отважится кто-либо так надменно выступать против вашего величества?»

«Молчи, молчи ты – орудие ада, который святые узы родства и клятвы стремится разрушить», – закричал Панкрац. – «Я хочу получить отчет о словах и поступках от князя, а не от тебя!»

«Отчет от меня?» – со скрытой усмешкой переспросил князь. – «Вы, отчет от меня, от своего князя?»

«От которого зависите, как подданный зависит от господина», – добавил к тому Штявинский.

Но едва он это проговорил, Мраз вмешался в разговор и сказал: «Эй, воздержитесь, пан князь, я вас люблю и умру за вас, если это потребует, но это непозволительно, чтобы в моем присутствии кто-либо венгерского земана называл подданным. У земана нет господина кроме Бога, поскольку и сам король является для него лишь братом. Я вас люблю и сделаю для вас, что угодно, но пусть Штявинский откажется от своих слов, ибо дай только повод; – и это не имеет значения, что кто-то десять, а я лишь одну борозду пашу, зато все мы равны перед Богом, и перед миром».

«Но, однако, ведь это только Панкраца касается, который угрожает князю!» – ответил Штявинский; на что князь сказал:

«И это за то, что бьюсь за ваши свободы, а он не согласен с нашими добрыми замыслами. Я этого не смею, и не буду терпеть – кому это не нравится, пусть от меня уходит. Я никого силой не удерживаю, именно поэтому отрекаюсь и от Червеня, что он склонен к стороне, которая своевольно подрывает наши свободы»

«Я против свободы, против права?» – с горечью воскликнул Панкрац. – «Знайте, пан князь, что скорее тысяча корвиновцев выступит против земанских прав, чем я, что скорее тысячу раз Ваг и Татры перевернутся, чем я пристану к Заполы!»

«Тогда почему защищаете Червеня?», – спросил князь.

«Потому», – ответил Панкрац, – «что вы осуждаете добрую душу, а причины на это не имеете».

«Не вам судить о причинах; не суйтесь в дела, которые вас не касаются, ибо вы не сын Матиаша, как Червень. Никто так не может провиниться склонностью к заповольскому роду, как Корвин. Сейчас, пан Мраз, вы поедете в Турц, затем сядете в Склабине, Червеню выразите и братство, и дружбу с нами, и будете там моим наместником; вы, пан Штявинский, отправитесь в Будин и скажете Франкопану, что у нас с Заполы приключилось».

Князь говорил исполненным уверенности голосом; Штявинский и Мраз приняли назначенные обязанности и приказания, лишь старый Панкрац, словно побежденный, с сожалением сел на стул, закрыл руками лицо, скрывая слезы, затем встал и тихим, многозначительным голосом сказал: «Оставайтесь с тем, что имеете! – Отталкиваете самых лучших, самых верных своих друзей. Старый Панкрац останется один, будет вспоминать времена венгерской славы, времена короля Матиаша, и будет плакать над разобщенностью его сыновей!» – потом вскочил, топнул ногой, седую голову поднял вверх, так что его белые волосы как живые разлетелись вокруг, и спокойным голосом произнес: – «Нет, нет. Достаточно и того, что в первое мгновение слезу обронил – уже и этого с лишком, поскольку никто еще не видел плачущим старого Панкраца;

не будем плакать, но будем думать, как уничтожить Заполы, и что честным людям шепнуть на ухо!»

Посмотрел на князя покрасневшими глазами, быстро повернулся и, когда присутствующие на это обратили внимание – его уже тут не было...

Как только послы вернулись из Спиша, Корвину все, что произошло, что Заполы думает, рассказали, решил князь немедленно отправить посла в Будин. Советовался с Червнем и с другими, кто торопил и о Заполы плохо отзывался. Червень был немногословен, когда его князь о чем-либо спрашивал, отвечал на вопросы, и, за редким исключением, не более того; избегал людского общества, с большим удовольствием в уединении проводил досуг и блуждал в чистом поле, по широким горам, в темной ночи один одинешенек. Червень – юноша в самом расцвете сил, когда молодость уже полна сил развернуться во всей своей силе до небес, однако он не испытывал никакого интереса к делам, о которых говорил князь. Слушает он, и словно бы не находится тем делам места в его сердце, словно бы его сердце, в других обстоятельствах такое мягкое, заморожено, – не склонится он к брату, слова не вымолвит; а когда князь о чем-либо спрашивает, когда просит у него совета, кивнет головой, поведет плечом и скажет, что хочет следовать тому, что задумал князь.

Князю это показалось странным, спрашивал его, в чем причина: то ли что-то ему не понравилось, то ли он заболел; но Червень обычно отвечал «всего мне хватает», по-прежнему думал и молчал. Князь спрашивал, возможно, он чем-то не угодил, не в нем ли причина его равнодушия; но всегда только – «Ах, нет», – слышал в ответ.

Наконец, это стало Корвина раздражать, стал задумываться и присматриваться к брату. Так и эдак размышлял, и пришло ему на ум, что причиной может быть какая-то недавно возникшая ненависть или, по крайней мере, неприязнь к нему. Принялся вспоминать и выяснил, что с того времени, как вернулся из Спиша, стал совсем другим человеком. Уж не пришелся ли ему по вкусу Заполы? – И, что хуже всего, не мог ли с Заполы, у которого есть свои способы сходитья с людьми и притягивать их к себе, сдружиться? И это мой брат? Так подумал князь, и сжалось его сердце, прервалось его дыхание еще до того, как осознал эту догадку.

С тех пор утратил князь покой, отдых, ибо подобно ядом пропитанной ране нарывало его сердце. Мысль об этом не оставляла его. Когда задумывался о друзьях, тотчас приходил на ум брат – разве все приятели не могут быть такими же? – Когда о неприятелях думал, вновь приходил на ум Червень – разве не самый худший неприятель тот, кто нас предает под маской дружбы? – Чем больше проходило времени, тем более князь отдалялся от брата; что зародилось как одна единственная мысль, превратилось в переполняющую душу неприязнь. – Однако долго так продолжаться не могло, поскольку не знал того, о чем думает, чем разгневан, чем опечален брат. Стал расспрашивать сперва Мраза, но тот ему ответил, что ему все равно, лишь бы человек делал свое дело и ненавидел Заполы; а в этом Червень – один из первых. Обратился к Штявинскому, и тот ему сказал, что причина без сомнения в склонности к дочери палатина, и рассказал о самом маленьком волнении, о самом незначительном слове, которое произнес Червень, и которое Червеню адресовалось.

Князь узнал, что хотел узнать. Сначала издали стал брату говорить о Марии, о его молчаливости и холодности к нему; когда же Червень ему доверился и ничего не утаил, стал князь настаивать, чтобы отбросил напрасные мечтания, иначе другие, когда дознаются, перестанут доверять ему, и так исподволь подвигал его к тому, чтобы от всего отрекся.

Червень слегка улыбнулся, и улыбка, редкий гость на его лице, добавила выразительности его словам: «Вы слабые люди, если боитесь чувствовать, трудно не потерять любовь людям, которые не способны на высшие чувства, возвышенные мысли. Вы слабые люди, которые тотчас все бросают, лишь только кто-то улыбнется, ваши замыслы основаны на таком слабом фундаменте, что стоит только кому-либо задуматься, стоит только самому маленькому словечку встать у вас на пути, и вы уже боитесь падения, боитесь крушения всех ваших зпланов».

После этого Червень ушел из Ликавы, никто не знает почему; правда некоторые рассказывали, что в последние мгновения его пребывания в Ликаве слышали резкий разговор

между паном князем и его братом, что говорили они громкими и взволнованными голосами, но о чем говорили, о том не могли узнать.

После этого пан князь позвал Штявинского, Панкраца, Мраза и долго с ними совещался о важных делах. Предстояло отправить посольство в Будин, которое должно было Франкопану и его милости королю дать знать о том, как обстоят дела с Заполы, все советовали, чтобы послал туда Червеня, но пан князь хмурил брови и противился этому. Слово за слово привело к разговору, который мы изложили выше, и сверх того, как мы услышали, к размолвке Панкраца с князем.

Штявинский в тот же день писал какие-то письма.

Пан князь взбешен, все в нем кипит, поскольку расстался со своими союзниками, и это его преследует как злой рок. Ища успокоения в семье, идет к своей молодой, красивой жене, берет на колени своего сынка; но всюду ему мерещится осужденный брат, плачущий и все же держащий в руке меч Панкрац, словно желающий за что-то отомстить. – Приказывает оседлать коня, летает по окрестностям и все же возвращается ко сну такой же взволнованный, как и вышел вон. Взошел на престол, топнул ногой и сам себе сказал: «Хорошо! Когда и от тебя избавимся, лишь тогда будем свободными». На следующий день Мраз отбыл в Турцу, Штявинский – в Будин.

VIII

Вверх по горам, вниз по долинам, вверх-вниз через высокие Татры и вверх-вниз по Липтовской долине идет путник, который выглядит утомленным, поскольку хмуро смотрит перед собой, а на окружающие вершины, хотя они и красивы, даже не взглянет, словно считает их недостойными своего внимания, словно его внутренний мир, в котором продолжает находиться, в тысячу раз огромнее этих гор. Идет, идет этот путник Липтовской долиной, вокруг не оглядится, вверх не посмотрит, словно ни окрестности, ни горы ему не нужны. – Придет на красивый лужок, который распростерся на холме между кустами над Вагом, сядет, закроет лицо ладонями и то ли думает, то ли прислушивается к журчанию Вага – не известно, лишь глубокие вздохи, которые из его груди раз за разом вырываются, означают, что у него что-то болит, что на душе у него все далеко не так безоблачно.

Путник вздохнул, и Ваг зашумел, заплескался в своих берегах. Очнулся, посмотрел путник перед собой и сказал: «То ли привет доносишь до меня от моих любимых, то ли плачешь надо мной? – Нет, не привет доносишь, поскольку твои волны туда не добегают, где любимые находятся; а те, кто мог бы с тобой послать доброе слово, родственное благословение – те его очевидно не пошлют». – Закрыв лицо и какое-то время сидел, потом встал и быстрым шагом пошел высоким берегом шумного Вага.

В Микуляше, в одном из самых красивых домов жил в это время пан Михал Панкрац, старый, но известный в округе живостью своего духа и верностью дому Корвинов, земанским благородством, а также и справедливостью, и пристрастием ко всему, что именуется правом.

К пану Панкрацу обычно валом валил народ в гости; поскольку не только лучшие в столице компании здесь собирались, и многое тут задумывалось и решалось, когда что-либо должно было начинаться, но и потому, что старый Панкрац умел наилучшим образом попотчевать панов братьев, поскольку, не имея ни жены, ни и детей, ничего для гостей не жалел. И сегодня приходят многие; однако как придут, так и вынуждены уходить, поскольку пан Панкрац никого к себе не пускает. Кое-кто пытался к нему прорваться, но слуги говорили, что господин болен, что лекари запретили ему любые разговоры, любое мало-мальски сильное напряжение духа.

Уже вечер. Слуги у Панкраца расходятся по своим местам, все сменяют дневную службу на вечерний отдых. Между тем именно в это время пришел какой-то посторонний человек и идет прямо к комнатам пана Панкраца. Слуги ему преграждают допрогу и говорят, что их господин посетителей, тем более в такое время, не принимает.

«Мне все равно», – отвечает незнакомец. – «Только скажите, он дома?»

«Что вам проку от того, что узнаете, ибо наш господин уже несколько дней никого не принимает».

«Идите и скажите ему, что пришел незнакомец, которого он сам вызвал, который должен с ним говорить!»

Слуга далее не упорствовал, но пошел передать господину слова незнакомца. Вернулся и сказал, чтобы прошел внутрь.

Незнакомец открыл двери. Пан Панкрац сидит за столом в большом старинном кресле, голову подпирает ладонью, которой прикрывал глаза. Слабый свет освещает комнату. Вошедший

поклонился, произнес: «Добрый вечер!», – Панкрац смотрит, приглядывается, выскакивает из кресла, идет к вошедшему, подает ему руку и говорит с живостью: «Здравствуйте, Яничко! Все же пришли на мой зов! Не сразу узнал вас».

Пришедшим был Червень. Стиснул старому приятелю руку и сказал: «Пришел, да, но тут нечему удивляться, поскольку отныне вся моя жизнь – это вечный путь; и нет ничего удивительного в том, что в одном месте солнце над моей головой встает, а в другом заходит. К тому же по вашему зову всегда готов явиться».

«Да, братец мой, мне очень важно с вами поговорить о вещах, которые для меня остаются неясными и от которых многое зависит. – Однако, времени много, садитесь, где найдете удобным».

«Я удобств более не имею», – с горечью сказал вошедший, а потом добавил: – «И кто знает, буду ли когда-нибудь иметь, ибо мир дал, и мир взял».

«Значит ваш брат выполнил свои угрозы. Что же, он сам на свою голову огнем посыпает и призывает заслуженную месть? – Ну, подожди. Когда об этом подумаю, кровь во мне кипятком закипает; однако спокойно, сейчас нам нужен покой, поскольку нам меж собой о многом поговорить требуется». – Последние слова Панкрац произносил тихо, но при этом прикусил губу, нахмурился так, что можно было по его лицу прочесть серьезные сомнения. «Садись», – снова говорит Панкрац, – «и расскажи мне все сначала, как приехали, как дальше дело складывалось».

«Хорошо», – садясь, ответил посетитель, – «уже тогда, когда все разошлись, сказал мне брат, что если не откажусь от Мариенки Заполы, чтобы больше братом его не называл. – Пришел Мраз в Турец, ознакомил меня с распоряжениями князя, а я засмеявшись произнес: «Что, болван, ждешь от меня и добиваешься невозможного? Как же я могу отречься, если ничего не имею?» – И покинул Турец навсегда. Пусть получит свои дары, мне от него ничего не нужно».

Панкрац ладонью подпер голову и слушал слова посетителя, который договорил и замолчал, ожидая дальнейших замечаний хозяина дома, известного своей неприязнью к мужчинам, которые позволяли себя опутать красоте и женской нежности.

«Хм», – в прежнем положении произнес Панкрац, не глядя на Червения, – «а разве это правда, что любите дочь Заполы?»

«Да, и этого не таю, но зачем об этом спрашиваете?»

«Тогда помочь вам не могу. Сами всему виной!»

«Я не ищу ни помощи, ни сострадания, но прошу вас, скажите мне, в чем моя вина? В том, что Корвин меня невзлюбил? – Оставьте, это был лишь повод от меня избавиться. Знаю я его, когда начинает что-либо, он находит сподвижников; потом же, когда дело сдвинется, наберет обороты, задумывается о том, как бы ему своих поверенных отстранить и всю заслугу приписать себе. – Никогда не верьте словам, поскольку за их внешней привлекательностью часто скрывается честолюбие, которое не вдруг-то распознаешь!»

«Как угодно. Я не об этом сейчас думаю», – глядя вверх, изрек Панкрац. – «Если бы вы не начали, он бы не закончил. В наше время нужны другие люди, не такие, что о женщинах думают, поскольку они одним этим половину своего времени теряют; а потому Корвин еще и в том прав, что тот, кому нравится дочь Заполы, не может ненавидеть его самого. Каждый стоящий с ним должен всем сердцем ненавидеть палатина, ибо все мы подвижны ненавистью к нему».

«Не так, не так, пан Панкрац. Против палатина мы взялись действовать потому, что право попирает ногами и страну ведет к гибели».

«И за это его ненавидим и с ненавистью идем против него. Я, правда, с Корвином разошелся, и даже если бы меня огненным мечом стегали, никогда бы с ним более не объединился, но, что правда, то правда. Он мою личность, мое земанство и права оскорбил, что касается вас, не могу ему этого в вину поставить».

«Стало быть, и вы против меня?» – грустно произнес Червень. – «И вы меня не слышите, а только осуждаете? И вы не считаете, что человеческое сердце может объять и пять миров, и за каждый из них умереть?»

«Это не имеет значения. Я позволил вам говорить в надежде, что все, в чем обвинял вас Корвин, окажется неправдой, и что клятву, которую мы тогда дали, сможем выполнить. – Теперь вам остается самого себя упрекать, коль скоро в ваше оправдание сказать нечего; знай я об этом, иначе себя в корвиновском лагере повел бы. Кто не может Заполы всем сердцем ненавидеть, того я не считаю другом. – Однако жаль, что сейчас я и Корвина должен ненавидеть!»

«Не делайте этого, ради Бога, будьте с ним, иначе все распадется!»

Панкрац поворачивает голову, смотрит на Червенья, вскакивает из кресла, поднимает правую руку, хватая его за плечо, меряет его взглядом, и произносит: «И это говорите вы? Вы можете так сказать!»

«Неужели вы подумали, что я настолько слаб, что и сейчас, хотя и разошелся с Корвином, не останусь верным тому, что прежде считал добром? – Я остаюсь таким же, каким был раньше; пусть меня он больше не увидит, пусть даже ветры ему от меня весть не принесут, и все же, где буду иметь возможность, всюду буду помогать его делу, не столько лично ему, мне до этого дела нет, сколько делу, которому служим».

Панкрац стоит посреди комнаты, слушает его слова, и ничего не может сказать, не знает, что ответить, и только повторяет: «Вы это говорите?»

«Он у меня отобрал то, что дал», – продолжал далее Червень, – и за это я на него не смею жаловаться, поскольку он взял свое; однако то меня гнетет, что он и братства меня лишил, и родственные связи расторг. Он спросил меня, люблю ли я дочь Заполы – извольте, что же я должен был ответить? Смел ли я, и мог ли отрицать? Не мог, поскольку это была правда. Я себя любви лишил, но не имел права ее оскорблять. – Он мне приказал отречься от дочери Заполы, но как же я мог это сделать, если ею никогда не обладал и, видя невозможность, никогда обладать ею не желал. Если бы он меня с братской доверительностью спросил, что я намерен делать, я и сам бы ответил, что ее отец человеку корвиновской крови, о котором знает, что против него действую, никогда не отдал бы свою дочь, что я с ее родом такой же неровня, как земля и солнце. – Теперь все...»

Но Панкрац не дал ему договорить, поскольку едва произнес последнее слово, обнял его седой старец за шею, целовал его и говорил: «Правду говоришь, сын мой, правду; я ведь и сам это знал, что не можешь ты Заполы сочувствовать, я ведь хотел тебя своими речами только проверить», – а потом, вдруг вырвавшись из объятий, встал посреди комнаты, поднял вверх два пальца, глаза его заблестели, лицо исполнилось какой-то особой значительности, лоб наморщился, а губы замерли, так что посетитель оставался в полном недоумении, и потому спросил:

«Что это вы делаете, что говорите?»

«Ничего, ничего», – ответил Панкрац, – «вспоминал болезни своего сердца, которое так обманулось, но подожди, – я поклялся, что смерти заслуживает тот, кто бы одного из нас предал или оставил!»

И так странно произносил эти слова, что если бы кто-то видел его, не узнал бы грозного Панкраца, который обыкновенно как буря гремел, но слова которого никогда не передавали ни внутренних переживаний, ни боли.

«Не удивляйтесь, сын мой», – говорил далее, – «уже несколько дней сам с собой прикидываю и размышляю, что следует предпринять, и вот сейчас решил, что ваш брат должен быть низвергнут!»

«Но не вами?»

«Мной, мной, поскольку он меня и вас прогнал – прогоним и мы его!»

«Нет же, нет, старик!» – говорил Червень, – «Мы должны стерпеть все ради достижения наших целей. Я не имею ничего на просторной земле, и все же могу его опрометчивость исправить. Люди знают, что вы и я – самые близкие ему, что мы составляем основу любого начинания; а так как ни один из нас не будет при нем, люди начнут спрашивать, как могло такое случиться, и беда начинания нашего представится, когда дознаются о причине. – Я пойду прочь отсюда, далеко, даже и солнечный луч не донесет до вас весть обо мне, но зато всегда буду о вас помнить и там; вы же останетесь, здесь при нем, и поможете ему тут».

«Я ему помогать?» – вскричал Панкрац. – «Я – его подданный, он – мой господин? – Смотри же, видишь – никто, кроме Бога, не властен надо мной, а он смотрит на меня как на своего слугу, с которым может как с крестьянином шутить. – И он берется защищать наши права? Ха, ха, ха. А моя седая голова, которая поседела на службе у Корвинов, стала белой как молоко, им опозорена? – Панкрац многим жертвует ради корвиновцев, но позорить себя из-за них не позволит никому». – При этих словах он нахмурился, прикусил губу и, хотя в полной темноте этого невозможно увидеть, отвернулся к окну, глядя наружу.

Юный гость грустно на него смотрит. Их компания выглядит несколько странно, поскольку пожилой хозяин не шевелится, а юный гость, утомленный дорогой, различными образами, которые из глубины души ему являются, тем более в себя погружен и тоже не подает голоса. Наконец Червень все же промолвил: «Вы говорите, что поседали на службе корвиновцам, а сейчас, когда они как никогда нуждаются в помощи, когда сами себе вредят, хотите их бросить? – Завершите свое дело – чему обещали посвятить свою жизнь, тому останьтесь верны до смерти».

«Не говорите об этом, я никому не позволю себя позорить, даже если бы сам Матиаш встал из гроба; а когда говорю Матиаш, испытываю такое ощущение, словно клянусь спасением души».

«Если для вас Матиаш так много значит, тогда не бросайте его сына во имя сохранения его славы, во имя сохранения страны. – Если мы все Корвина бросим, пропадет слава Матиаша; а поскольку вы свою жизнь поклялись посвятить служению ему, то пропадает и ваша жизнь, вы и себя уничтожаете. Заполы хочет стереть даже память о моем отце».

«Этого не может быть, и не будет!» – сказал с гордостью Панкрац.

«Нет, случится, если мы все Корвина бросим».

«А вы почему же с ним не помириться? Почему вы не забудете о его высокомерии?»

«Это совсем другое, непочтительность посторонних нас не так задевает, как опрометчивые поступки тех, от кого мы вправе ожидать хорошего обхождения. — Вы с ним разошлись из-за моей персоны – так я ему все прощаю, и вы не имеете права более от него отделяться».

«Черта нет», – произнес старик, – «или есть...»

«Уж как бы там ни было, в память о Матиаше не оставляйте его. Ему потребуется помощь по всей стране, разве сможет он поспеть всюду. Вы нужны ему. – Вспомните о времени его отца – и верните к жизни его дело, которое хиреет и катится к пропасти».

«Если это от меня зависит», – говорит спокойно, садясь и на руку голову оперев, еще секунду назад буйный старец, – «тогда согласен! Не для него, а для его славы!»

У Червеня заблестели глаза.

Панкрац из глаз слезу выронил.

Это потребовало от него больших усилий.

Потом, подавая Червеню руку, произнес тихо: «Идите и вы со мной!»

«Нет, я уйду, уйду, и Бог знает, куда забреду. В нужное время я сам объявлюсь. – Подадим друг другу руки, обнимемся по-приятельски и разойдемся по свету, где нам предстоит победить или умереть».

Вошел слуга и пригласил господ ужинать.

Молча, без слов, без разговоров они вышли из комнаты.

IX

Липтовский князь принимал весьма важных гостей. В это время в Ликаве многое делали, многое замыслили, но и о развлечениях не забывали. – Приехали родственники князя господина Франкопаны, влиятельные в Северной Венгрии и еще более влиятельные в Хорватии, – а также пан Герерб, пан Шекели и другие. Прямо из Будина прибыли.

Княжна, молодая красивая Беатрис Франкопанова, смотрит на Липтов, а ее сынок, еще маленький мальчик, играет с отцовской бородой, тянет его за волосы и прижимается к отцовской груди. В то же время добрые приятели развлекают князя своим присутствием, новостями, которые привезли, и особенно советами, которые сейчас так необходимы.

Однако князь слушает и молчит либо очень мало говорит в ответ; когда другие воодушевляются, и у него разгорается огонь в черных глазах, но быстро гаснет, подобно звезде, падающей с небесной выси; когда другие смеются, строят большие планы на будущее, пан князь опускает голову и предается думам и мечтам.

Удивляются этому гости, качают головой, шепчутся, а пан князь ни на что не обращает внимания.

Зато в Ликаве весело, а потому и для князя нет-нет, да и выдастся час веселья.

Прекрасный летний день. Ниже замка по склону, словно по дороге, к Ружомбероку направляются несколько господ. Это князь, двое Франкопанов, Герерб и Шекели. Издалека видно, что говорят они о чем-то важном, поскольку все теснятся к князю, сложно каждый хочет скорее высказаться.

Пан Якуб Шекели говорит: «Пан князь, последний раз к вам обращаюсь, решайтесь на что-нибудь. Эту вашу совестливость все равно придется оставить, не получится у вас следовать примеру отца, другие времена, другие условия. Ваш отец руководствовался законом и справедливостью, но он был королем и мог делать, что хотел; что же вы сейчас сможете сделать? Во всяком случае, вы должны быть хозяином самому себе, если хотите что-то прежпринять».

«Вы остались таким же, каким и были, не изменили своим убеждениям», – произнес князь.

«И подумайте о том», – продолжал Шекели, – «что с каждым днем возрастает раздражение против правления Владислава? Речь не идет тут, пан князь, о ненависти к Заполы; поскольку даже если он десять раз падет, любой другой, кто придет на его место, не будет лучше. – Владислав сегодня на вашей стороне; но завтра Заполы ему пригрозит, и он его на коленях умолять будет. Что же касается меня, то я однажды дал обещание вашему отцу, что другого, кроме вас, короля в Венгрии не признаю; так поступал до сих пор; так буду делать и впредь. Однажды вы уже оставили...»

«Но разве я мог продолжать сопротивляться, думая лишь о возвышении, когда наши силы были сломлены, наши владения отобраны?»

«Не следовало верить словам Заполы, и советам епископа. Подвели вас лишь ваши фантазии, которые ничего общего с этим миром не имеют. Вы напридумывали себе Бог знает каких идеалов о мире, о правде, о праве, и ждали, что мир будет таким, каким вашей юной душе угодно. А мир нужно принимать таким, какой он есть».

«Мир, мой друг», – ответил князь, – «не настолько чужд высоких идей, как кажется, в этом вас переубедем тем, что Липтов и другие столицы высказались против Заполы».

«А что намерены делать с Заполы?» – спросил Шекели.

«И как этого добьетесь? Сумеете ли, поскольку он является палатином?»

«И может им оставаться, но пусть не выходит за границы своей власти и своих полномочий».

«Но что же мы должны делать», – произнес Шекели, – «если в Будине никто ни о чем не заботиться? Разве не должны мы внушить королю те же мысли, и тем перетянуть на свою сторону власть?»

«Так не должно быть, ради небес», – ударив себя в грудь, вскричал Корвин. – «Это не может произойти никогда!»

«А если не может», – настойчиво произнес Шекели, – «тогда вы должны, да, должны добиваться королевского могущества. Вы должны, пан князь», – продолжал он настаивать, словно только сейчас понял, каким способом вернее убедит князя, – «иначе нам плохо будет. Заполы уже сейчас на Владислава мало оглядывается, над поступками Матиаша смеется, а дворянам льстит, лишь бы они при нем оставались. Разве только сейчас появилась в нем эта ненависть? Разве ни о чем не говорит то, что на недавнем Будинском сейме он подвиг собравшихся, чтобы поручили ему попенять королю за его леность? – О, Заполы хорошо знает, что этим он одолел еще одну ступень к трону, ибо чем сильнее он унижает Владислава, тем больше возвышается сам. – Увидите, пан князь, как Заполы оставит вас в дураках».

«Все сделаем, погибнем», – после краткого молчания отозвался князь, – «но этого не должно случиться».

«Это хорошо, пан князь, согласен», – произнес Шекели. – «Я бы скорее с немцами объединился, как бы мне это ни претило, чем обращаться к тем людишкам, которые суть творения Заполы; и потому мы можем смело говорить. Заполы не имеет права оставаться палатином – Владислав не имеет права оставаться королем, поскольку оба они вместе стоят и вместе падут».

Господа кивают головами и единодушно подтверждают: «Так оно и есть».

Князь вздрогнул и, оглядев всех, говорит: «Это недопустимо!»

«Чего же вы тогда хотите, пан князь?» – энергично отозвался Шекели. – «Чего добиваетесь от Заполы? Мне кажется, что сами еще не знаете, к чему стремитесь».

«Я хочу укрепления моей власти, хочу по мере сил исполнить отцовский наказ и данное ему обещание; и потому я выступаю против всех, кто подрывает основы будущей венгерской славы, которые заложил мой отец. Не хочу возбудить междоусобицу, не хочу – этим навлек бы на свою голову отцовское проклятие», – сказал и задумался.

Князь был молодым человеком, вдохновленным пламенной мыслью; его горячая душа мечтала исключительно о славе венгерской земли. Король Матиаш, его отец, воспитал его под своим присмотром и указал ему дорогу, которой должен следовать, привил его сердцу чистоту чувств; а старый Бонфини, его воспитатель, роясь в истории Венгрии, вспоминая старые героические времена наших королей, наполнял его душу восхищением и заботой о славе отечества. Матиаш говорил: «Преследуй несправедливость, всей жизнью укрепляй закон и право, люби отчизну и старайся сохранить ее единство любыми силами». – Бонфини же, не обращая внимания на отдельные эпизоды тех лет, рассказывал, как замечательно было раньше, как хорошо сейчас, когда наши короли в битвах вознесли свое имя и славу своей стране вплоть до солнца. Корвин соединил в себе обе эти стихии, и думал: «Умножу славу страны, но прежде установлю единство, и этим добьюсь того, что должен сделать, так исполню и наказ Матиаша, и замыслы Бонфини». – После смерти отца поднял саблю и хотел взойти на трон, но, видя, что этим разорвал бы цепи единства, которыми Матиаш сплотил страну, отказался от своих намерений и положился на волю сословных представителей, занимающихся избранием короля. Однако когда был предводителем войска, когда воевал против врагов Венгрии, первым шел в битву и последним из нее выходил. – Многие выдвигали его, поскольку в ведении самых

разных дел он был одним из самых способных, хотя и сетовал постоянно, что ни к чему не может приступить, не обладает необходимыми знаниями, не осмелится. – Мало найдется чистых душ в нашей стране, которые следовали бы, без оглядки на собственные выгоды, только голосу своего сердца; а князь после смерти отца был таким. Он не желал ввязываться в споры, которые могли бы разделить страну, не из-за нерешительности или глупости, но, скорее всего, потому, что это было противно его юному сердцу, которое с молодых ногтей было исполнено возвышенными представлениями о мире, об общем благе. – Иногда вспыхивал в нем огонь самолюбия и желания личного возвышения, но обычно это длилось лишь несколько мгновений, стоило князю сравнить эти устремления с целью, которую поставил перед своей жизнью, и огонь честолюбия был погашен и изгнан на долгое время. Эта внутренняя борьба придавала князю ту колдовскую силу, которая пробегала по его лицу, отражалась в глазах.

Вот и сейчас, когда Шекели стал разжигать в его сердце огонь утраченных желаний, когда принялся по обыкновению подталкивать князя поднять знамя борьбы и, сорвав корону с недостойной головы, законным способом увенчать ею свою голову, без притворства объявил, что подрывать единство не желает.

После смерти Матиаша был Шекели одним из самых верных приверженцев Корвинов, даже после проигранного сражения, в котором сторона Корвина понесла полное поражение, он советовал князю, даже заклинал его, чтобы не отрекался добровольно от своего права; когда это все же случилось и Корвин поступил, следуя своим убеждениям, Шекели зубами скрипел, грозился и ему, и всем, кто изменил клятве, данной Матиашу, он объединился с Максимилианом австрийским против Венгрии по той причине, что хотел оставаться верным своей клятве. Это был железный муж, и так много австрийцам помог.

Сражаясь против Корвина, он так размышлял: «Что мне до тебя, если ты сам себе изменяешь, я останусь верен себе, а тем самым и тебе не изменю». – От господ Франкопанов, которые в Хорватии и Славонии тайно и исподволь приобщали своих знакомых к новым взглядам, призывал к будущим переворотам, узнал, что пан князь отказался выступить против господствующей в стране стороны; тогда затеплилась в его душе надежда, что теперь удастся осуществить то, что прежде не удалось. С этим и пришел вновь, нашел Корвина, возродил в нем угасшее было стремление к короне, разъясняя, что князем до этого времени уже совершенно, что из его начинаний может последовать, что делают другие, сравнивая его свершения с делами Заполы, внушая, что любые действия предопределяют падение Владиславова правления.

Князь говорил от души, убежденно, Шекели тоже. Один был прав, и другой был прав.

Шекели снова взял слово: «Пан князь, будьте же искренни, говорите, что чувствуете – поскольку полагаю, что беседуем в последний раз».

«Что думаю, то я и говорю. Междоусобицы более не желаем, поскольку турки – в Польше, а Венгрия близко».

Шекели поднял взгляд на князя, долго всматривался в него, а потом важно с расстановкой сказал: «А знаете ли, пан князь, что именно тем, что не решаетесь принять мои предложения, вы только увеличиваете разобщенность, разделяете людей и провоцируете междоусобицу?»

«Докажу вам, если позволите. Вы предприняли первые шаги против Заполы, который тянется к короне, вы обзавелись сторонниками, и тем самым положили начало раздорам, которые, если сами не приведете страну в состояние покоя, если всецело положитесь на волю случая, приведут к трениям, противники будут уничтожать друг друга, предадутся туркам, которым это на руку».

«Нет, это не так, вы идете дальше моих замыслов и выдаете за мои поступки то, о чем я никогда не думал».

«Не спешите, пан князь», – горько усмехаясь, продолжал Шекели. – «Вы намереваетесь, как утверждаете, лишь укорять Заполы или, словом, людей, которые уничтожают то, что создал Матиаш, которые, не думая о будущем, уничтожают старые порядки; и вы полагаете, что все это пойдет так, как вам представляется, что на кого-то подействуют ваши слова? – Ошибаетесь. Король Матиаш умер, и с ним справедливость; покуда он сам не встанет из гроба, либо пока ему

подобный не сядет на трон, нет смысла надеяться, что правда победит. – Пан князь, вы молоды, надеетесь, что в мире должно победить доброе сердце и нестигаемая воля; но вы ошибаетесь. Если сейчас чего-либо потребуете словом, вас либо высмеют, либо ответят вам мечом. Мы не можем действовать сами по себе, мы должны оглядываться на тех, против кого боремся. – Мне безразлично, из каких побуждений вы предприняли в Будине шаги против Заполы; но свет и, словом, все мы имеем на этот счет собственные суждения. Мы выступили против Заполы, король, в надежде, что вы избавите его от могущества Заполы, которое ему так тягостно, тоже выступил против него. Сейчас Заполы вынужден обороняться и, как мужественный человек, он будет защищать свои права и не уступит ни шагу».

«Именно так», – отозвался Франкопан, – «и мы должны сделать то же, мы не смеем уступать, в том числе и Владислав».

«Хорошо, хорошо, сплотимся против него прежде, чем он во всеоружии выступит против нас. Главное, имейте в виду», – продолжал князь, – «что страна должна за нас проголосовать».

Шекели покрутил головой и ответил: «Не думаю – поскольку мы выступаем именно против того, чему он потворствует, против своеволия дворян. Мы хотим вернуть времена Матиаша, и об этом действительно многие вздыхают. – Но что нас ждет, если мы вернемся туда, где были?»

Заполы будет стоять на своем, мы тоже, поскольку пути назад у нас нет; таким образом два лагеря уже созданы. У Заполы хорошая память. Он обязательно дознается, кто именно стоит против него. Мы и король надеемся на вас, – а вы именно сейчас хотите нас оставить; Заполы будет нам мстить, мы вынуждены будем сопротивляться, поскольку раз уж начали, то должны закончить».

«Хорошо, хорошо, поднимемся против него, и я того же желаю», – говорил взволнованно Корвин, – «уничтожим его и выиграем все, упрочим закон и нашу славу».

«Не обольщайтесь», – проговорил Шекели, – «мы уничтожим лишь голову его лагеря, а не сам лагерь, если угодно, беззакония, неправды, самоволия; эти потом найдут себе другого предводителя и выступят против стороны, которая хочет вернуть времена Матиаша, Заполы лишь озвучивает волю своих приверженцев, которые еще при жизни вашего отца были недовольны его правлением. – Если Владислав останется на троне, мы поневоле вынуждены будем вступить с ним в трения, – король будет этому удивляться; если будем молчать – пропадем оба; но если на трон придет другой, подобно Матиашу, возьмет ослабленную узду власти, тогда одолеем опасности. Против Матиаша тоже стояли польская, чешская и Бог знает какая еще партии, но он их одним разом уничтожил, и сами знаете, как властвовал. Владислав так никогда не сделает, хотя знает, что в Венгрии есть разные партии. – Именно поэтому мы хотим возвести вас на место вашего отца; еще ничто не потеряно».

Шекели подходил все ближе и ближе к огню, порывистый ветер вздымал его седые волосы, и это придавало его лицу значительное выражение, поскольку нет ничего красивее, чем приметы старости, проявляющиеся в порыве одухотворения. Седые волосы и юное сердце дают в союзе тот самый любимый образ, о котором человек может только мечтать.

Все затаили дыхание, поскольку каждый ожидал ответа князя.

Князь ничего не ответил, казалось, он размышлял, поскольку отвел взгляд и устремил его в землю. Потом тихо неуверенно произнес: «Выступаем против беззакония, а законно сидящего на троне вынуждены лишить власти путем беззаконным. Чудно!»

«Да, пан князь, однако вам не придется этого делать», – сказал Шекели, – «это сделаем мы. Разве Вацлав Чешский, разве Отто Баварский были неправильно лишены трона, коль скоро они не имели способности властвовать? Разве является Вацлав королем, и разве он был им когда-либо? Он не царствует, стало быть – не король. Народ имеет право заботиться сам о себе, когда его глава о нем не заботится! Мы у Владислава возьмем лишь то, чего он никогда не имел, потребуем от него, чтобы перестал быть королем, которым никогда не был. – Да, пан князь», – произнес далее Шекели, – «я знаю средство, с помощью которого будут дарованы нам наши цели без всякого насилия, без поднятия руки, без пролития единой капли крови».

Князь вздрогнул. Последние слова Шекели произнес так неожиданно, так энергично, что чудесным образом повлиял на душу князя, уверенную в своем предназначении. Схватив Шекели за руку, он горячо заговорил: «И это средство?..»

«Ознакомлю только вас. Вы претендуете, чтобы Заполы был отстранен; в таком случае на будущем сейме вы должны обвинить его перед лицом всей страны. Владислав на нашей стороне. Власть Заполы сильна в Северной Венгрии, наша – в Южной Венгрии; на сейм съедется больше приверженцев с нашей стороны, с помощью которых Заполы возвысил должность палатина едва ли не до королевских высот, стало быть, у будущего палатина руки не будут связаны. – Придет время, когда Владислав ограничит себя в вашу пользу: тут требуйте, чтобы он признал вас самостоятельным князем Липтова и всех ваших имений, столиц, вплоть до Прешпорка; Владимир в спешке скажет «bene, хорошо», и вы получите то, чего желали. Меж тем нам не трудно будет заметить у короля некоторые слабости, которые день ото дня проявляются все более и более; и тут наш палатин предпримет то, что сделал Заполы на будинском сейме, то есть заявит, что Владислав, вопреки всем напоминаниям, бездельничает в праздности, и будем ссылаться на решение будинского съезда, который Владислава, как неисправимого, намеревался отстранить от власти. И Вук варадский, и Бакач, епископ веспримский, будут последовательны. Беатрис, ваша мачеха, с ее сторонниками тоже выступят против него, потому что он ей только мешает, а римский папа, который держит ее сторону, легко присоединится к нашим замыслам. Все сложится удачно, и мы достигнем успеха. Потом мы возвысим голос, предъявим ваши права, будем добиваться, чтобы ваше княжество присоединилось к короне, и тогда, собственными ошибками наученные и умудренные сословные представители, не обращаясь к другим дворам, должны будут провозгласить вас королем. В нашей власти не оставить соперникам времени на создание партии. – Пан князь, когда это случится, разве не исполнится воля вашего отца? Разве не восторжествует закон? Разве кому-то это покажется несправедливостью? Вашей расплатой за злые проступки – да, но несправедливостью это никто не посмеет назвать!»

«Это правда, правда!» – отозвались все остальные.

Пан князь молчит, все смотрят на него. Он говорит: «Дайте мне времени до завтрашнего утра!»

Господа хотят вернуться, хотят пуститься в обратную дорогу; но тут их взгляды привлекает всадник, который мчится во весь опор от Ружомберока. Мчится, все более приближаясь к идущим господам.

Всадник приблизился, пан князь остановился и замер. Господа тоже остановились и посмотрели на него. Князь потупил взгляд и покраснел. – Путником был старый Панкрац. – Чего он тут хочет?

Недолго длилось размышление. Панкрац подъехал, поклонился, соскочил с коня, подбежал к князю, протянул ему руку и произнес: «Старый Панкрац пришел к вам, так как забыл обо всем, что было; забудьте и вы!»

Князь ему не поверил, посмотрел на него, и только глаза опустил, не зная, что ему предпринять. Панкрац обещал ему месть, Панкрац был человеком необычайной твердости и умел держать слово. Панкрац не мог прийти с благими намерениями. Однако старец сказал: «Не доверяете мне? Я же сказал, что все забыл, – а я умею держать слово».

Князь подал ему руку.

Присутствующие не понимали, что происходит, и очень удивлялись. «Да, господа», – произнес прибывший, – «вы прибыли из Будина? Забыли меня? Не узнаете? – Действительно, когда человеку нечем заняться, он стареет быстрее времени, от бездействия, – и, кроме того, давно миновали времена Матиаша, когда человеку время от времени предоставлялся случай встретиться с приятелями. – Ну, ничего, зато – приветствуйте меня в Липтове».

И подавал им по порядку руку. Шекели его узнал, и Гереб, и Франкопановцы, господа важные, не забыли лицо «нищего земанчика».

«Да, пан князь, ваша милость», – произнес старик, – «я давно здесь не был, но пришел, чтобы никогда с вами не расставаться. – Однако как обстоят дела? Пора начинать?» Князь сказал

гостям с радостным выражением лица, что Панкрац как раньше, так и сейчас является одним из его лучших друзей, и потому все могут высказываться свободно; но гости не знали, чего хочет Панкрац, не знали, о чем при нем можно говорить.

Пан князь, хотя и боязливо, взял Панкраца под руку, слегка улыбнулся и говорит: «Пойдемте в дом, пан брат, и там все обсудим!».

И господа повернули к Ликаве.

Король Владислав отчетливо сознавал, за счет чего держится, хорошо знал, что некоторые дворяне в стране могущественнее его. Он был человеком добрым, но не умел использовать свою доброту, не умел дать отпор, не умел последовательно отстаивать даже свой титул. Скорее терпел и принимал несправедливости так, словно сам их творил и карал. Доброта без силы, которая не умеет сопротивляться злу, является слабостью. Кто не умеет ненавидеть, не умеет любить, кто не способен уничтожать зло и сопротивляться ему, тот не способен оценить достоинство и возвышенность добра. Владислав сидел в Будине и радовался, если мог жить в покое, не заботясь ни о чем. Он не умел никого осудить, не умел прислушиваться к голосу правды и добиваться ее, не умел поступить как господин там, где голос сильный, слово энергичное могло воспрепятствовать течению родника, из которого все будущее зло брало исток. – Это заметили магнаты, венгерские мегаломаны, они делали, что хотели, отдыхая в вольности после железного правления Матиаша. Кто обладал крепким замком, присвоил себе целый край, брал, что мог, притесняя по собственной воле большого и малого, земана и не земана. Господа земаны изрядно гневались, писали королю, просили о защите своих прав – однако ни ответа, ни помощи дожидаться так и не могли, потому вынуждены были либо забыть о своем возмущении, поступая с более слабыми так же, как поступали с ними, либо объединялись с мегаломанами и действовали с ними рука об руку; хорошо это было или плохо, решались и действовали, пытаясь хотя бы так обеспечить безопасность своего достояния. Каждый угнетал кого только мог. Но наибольшие несправедливости творились в Татрах, поскольку здесь еще не забыли давние времена, когда сторонники Искрова и Хуньяди, а потом поляки воевали между собой. Владислав многих от себя отдалил, одни сочувствовали корвиновцам, другие же Яну Альбрехту, королю польскому, третьи не желали ни того, ни другого, но заботились больше о себе и своей собственности, но им-то еще хуже приходилось, поскольку и те, и другие не давали покоя. Никто не сумел эту разобщенность в своих интересах лучше использовать, чем Заполы.

Угрожающим было это прозябание в стране. Владислав не получал ни совета, ни помощи. В довершение, когда натиск усилился, когда в Будин поступали непрерывные жалобы на то, что заповцы угнетают всех, кто не с ними, когда тут и там звучало, что Заполы сам тянется к короне, Владислав обеспокоился и написал палатину настойчивое письмо, в котором приказывал ему больше внимания уделять порядку. Палатин кивнул головой, улыбнулся, не возразил ни слова, но созвал в Будине на сейм сословных представителей подумав:

«Подожди, воздам тебе сторицей». Сейм открылся, Вук, варадский епископ, открыл его речью на словенском языке, в которой представил печальное состояние и разобщенность страны, а потом выступил Бакач, веспримский епископ, в речи на мадьярском языке он говорил о том же самом предмете. Когда представители сословий все это выслушали и выговорились, приняли решение отправить к королю посольство, которое призвало бы его к большему усердию.

Палатин улыбался, глаза его горели, а ноги шаг за шагом приближались к Будинскому замку. Вскоре Владислав, со слезами обещая приложить всяческое усердие, покорился гордо несущему голову палатину и обязался сохранить все земанские права, и даже расширить их.

Однако едва посольство убыло, король пожалел о своей слабости, когда послов уже не было, стал ругать их на чем свет стоит и грозиться. С тех пор осознал, на каких слабых ногах стоит его звание и власть. Тогда принялся размышлять, каким образом мог бы обезопасить трон. – Договорился, наконец, со своим братом Яном Альбрехтом, который тоже предъявлял претензии на венгерскую корону, и пригласил его в Левочи на дружеский разговор. Ян Альбрехт пришел с толпой своих лучших дворян, Владислав также явился в таком великолепии и блеске, какой только был возможен. Владислав отрекся о претензий на польскую, Ян же – на венгерскую

короны и обещали взаимную помощь против турок. Договор подписали обе стороны, только палатин отсутствовал, а без его подписи с венгерской стороны документ был недействителен. Король приказал – палатин не явился; король позвал, палатин не пришел – даже на многократные просьбы отказался, да так напыщенно, так высокомерно, что оба короля со всем дворянством пришли в замешательство, особенно когда палатин объявил, что в их любви не нуждается и гнева не боится.

Владислав тем более стал опасаться за свою власть; учредил в связи с этим братом тайный договор со своим братом, по которому оба обязались поддерживать друг друга в противостоянии со спесивыми господами. Обещались, что будут ограничивать силу влиятельных особ. Но чтобы в своем предприятии тем безопаснее могли продвигаться, должны были против турков, неизменно к границам Венгрии и Польши теснящихся, себя обеспечить. Взяли тогда в свой тайный союз и Штефана, деспота валашского. – Тот обещал, что туркам никогда не позволит свободно проходить через свою страну в Венгрию и Польшу, когда бы они ни объявились на его границах, выступит против них, а о их движении обоим королям объявит и предупредит; те же ему обещали, что всегда от них получит превосходную помощь.

Тут случилось турки неожиданно, не весть откуда взялись, ударили сперва на Валахию, словно для того, чтобы деспот мог дать об этом весть, а его союзники послать ему помощь, – и двинулись прямо на Буковину и Польшу. – Яну Альбрехту грозила наибольшая опасность, поскольку он не был готов к войне: польская шляхта бранилась и грызлась между собой, а на сынов Магомета, вцымещающих свою ярость на одном из господ, смотрела равнодушным взглядом. – Письма летели в Будин одно за другим, однако Владислав не находил решения, поскольку кошелек его был пуст, а распоряжения настолько недействительны, что заранее знал – ради его никто даже коня не даст оседлать. Не оставалось ему ничего другого, кроме как или к Заполы обратиться и о спасении просить, либо в поругание собственной чести оставить брата в опасности.

В обоих случаях Владислав должен был сам себе навредить; если бы обратился к Заполы, то на будущее попадал к нему в такую зависимость, что тот мог делать с ним все, что хотел, тем более, что уже сделал ему такое предупреждение, в котором содержался намек на лишение титула. Если же он пошлет помощь брату, Заполы, зная об их сговоре, одним движением пальца сможет помешать этому, а после того, как попавший в нужду брат останется без помощи, очевидно, нанесет Владиславу сокрушающий удар. – В таких-то тяжелых обстоятельствах пришли в Будин корвиновские посланцы. Владислав как обычно сказал «хорошо, bene» и обрадовался, поскольку надеялся получить помощь для брата и поддержку в противостоянии с ненавистным Заполы. Господа Франкопановцы и другие союзники все ему обещали, и сошлись на том, что король ничего более от Заполы требовать не будет, что как можно скорее прикажет созвать сейм и там будет с корвиновцами добиваться его отстранения. Владислав вздохнул свободно, пожалуй, впервые за время своего правления, поскольку очень полагался на силу корвиновцев, не боялся Заполы и думал, что одержал верх над всеми. Корвин должен был как можно скорее собрать войско – правда, на собственные средства, – и спешить в Польшу на помощь Яну Альбрехту. Для этого мог повелевать именем короля во всей Северной Венгрии, включая и те края, где властвовал Заполы. – Так условились Франкопановцы, рассчитывая на то, что Заполы от них укромается, – ну а в мутной воде хорошо ловить рыбу.

Старый Панкрац все это узнал и очень радовался тому, что Заполы так унижен и от короля в сторону отодвинут, но все же опасался того, что все тяготы ложились не на королевские, а на корвиновские плечи. Еще и то ему не нравилось, что в Польшу лучшее войско отведет – и это в то время, когда около отары собираются волки; но успокоило его обещание, по которому вскоре у Заполы должны отнять должность, знал и то, что все имеет свою цену.

Корвин готовился к польско-турецкой войне и рассылал своих гонцов во все стороны Северной Венгрии.

Но еще и другим воодушевился. Откликнулся на речи и усилия Шекели, и решил добиваться прежде всего самостоятельности Липтова, а потом – королевского звания.

Узнав об этом, Панкрац радовался, лицо его расцвело как у младенца, а седины выглядели как цвет калины весной и придавали ему какую-то буйную свежесть. Кажется утешился. Прославлял дух Матиаша, едва только представлял себе, что его потомок все же сядет на отцовский трон, смеялся и плакал, плутал во временах минувших, во временах венгерской славы, временах блеска, который потух вместе с королем Матиашем.

X

Чудно все переплетается на этом свете. Наши склонности часто определяют мелкие дела и обстоятельства. Какой-нибудь юноша услышит рассуждения о красивой девушке, которой никогда не видел, что подобной ей не существует на свете, что сияет она на этом божьем свете словно роза в своих волшебных далях, что подобно солнышку одним дыханием распространяет блаженство вокруг себя, – и в его груди загорается непонятная тоска, сердце сжимается и дыхание замирает, а в нем возникает неодолимое желание увидеть этот чудный цветок временами скупой, временами расточительной природы, а если удастся – вырвать его и пересадить в свой цветник. В то же время выдают юношу блеск глаз, беспокойное оглядывание, и разносится по свету молва, что душа его склонилась перед красотой маленькой панны, перед ее нежным, мягким сердцем – а панне, стоит только увидеть или почувствовать это, начнет льстить, что невинным образом покорила она мужскую душу, и охватит ее некое участие к той особе, подобно тому, как утренняя прохлада овеивает почти невидимым движением своего дыхания стоящую в чистом поле рожь. Затем, льстя своему самолюбию, начинает размышлять, и уже не может избавиться от мысли о том, что о нем неустанно думает; вот так, исподволь, прокрадется его образ в ее душу, сердечко начинает трепетать, личико запылает при мысли о нем священным огнем сердца, и постепенно возбуждается в юной душе необыкновенная жажда, которую пронесет она до пределов небсного рая. Чувство может родить только сочувствие.

Представьте себе девушку, которая похожа более на существо неземное, нежели на человека, которую овеивают все силы нежности и свежести чарующей молодости – глаза которой являются посланцами неба, призванными объединить холодную землю с горячим великолепным огнем небесной высоты, ибо на кого упадет их блеск, тот забудет о мире, даже если останется в нем, будет следовать к беспокойному одиночеству; лицо которой – сон розы о своей красоте, утренняя звезда красоты, отблеск рождающейся, но еще доселе невиданной божественной красоты; уста которой – два родника, из которых вытекает в живой чистоте гармонии неслыханная доселе песня света, запечатленного в слове; дыхание свежей розы, к которой обращен голос соловья, – и тогда вы получите Мариенку.

Если бы глянуло на нее солнце божье, оно склонило бы к ее ногам свое огненное лицо; звездочки все глаза выглядели бы, а месяц в тихой задумчивости плакал бы горючими слезами, что не может ее поцеловать, и стало бы покрасневшим от слез его бледное лицо, десятикратно возросла бы в сердце его печаль; вечерние ветерки, целуя украдкой ее прелестное лицо, играя в ее черных волосах, забыли бы о том, куда держали путь и, упоенные небесным наслаждением, сами себя уничтожили, пропали навеки, чтобы только о нем, о своем наслаждении вспоминать, вспоминать вечно, чтобы другие эпизоды не замутили, не заслонили воспоминания о самых лучших минутах их долгой жизни, в течение которой много, много лет искали ее и только сейчас нашли.

Такой была Мариенка.

Стоит ей посмотреть, зашумит ветер, приветствуя ее своим успокоением, стоит ей наклониться к цветку, тот заплачет от того, что не может взлететь на ее грудь и украсить своим великолепием эту корону красоты, которую Бог на посрамление или, скорее, на увенчание всех

потуг природы создать совершеннейшую красоту, послал на этот свет. Травка приминается под ее ножками и выстилает мягкий ковер ее шагам, камешек сторониться с дороги, чтобы она ножку не поранила; соловушка в кроне умолкает, когда видит ее приближение и слышит шум, выдающий ее движение, смотрит на сияющее облако, которым окружено ее движение, и наполняется трепетом сердечко в его груди, поскольку именно такой образ представлял, когда сочинял свою песню, и смутился, что его песня не может прославить то совершенство красоты, и заплакал в песне жалобной, в песне последней сам над собой, что не может провозгласить ей вечную благодарность и сгинуть, напевая о ней, чтобы его последней песней была она, только она.

Такой была Мариенка.

Однако она не ведала об этом покорении мира, она не тешилась этим, поскольку сама не знала о своей красоте. Грустила о чем-то и не знала, что это было, склоняла головку к белой нежной ручке как маков цвет, и не знала, что отягчает ее головку.

Сидела, как обыкновенно, возле своего окна в Спишском замке.

Вошел пан Заполы, его стремительный шаг свидетельствует о необыкновенном волнении, его волосы, запроваженные за уши, открывают его лицо во всей красе. «День добрый, Мариенка! – Что подельываешь? – Почему слетела с твоего лица улыбка, почему меня не приветствуешь как обычно?»

«Добрый день. – Я думала о вас, о том, что совсем одних нас оставляете. – Все же, отец мой, разве это хорошо с вашей стороны?»

«Хм – но и тогда все наши мысли и заботы о тебе!»

«Обо мне?» – с удивлением произнесла Марина, а потом с легкой улыбкой заметила: – «Вряд ли это похоже на то, что о нас думаете; вот уже третий день те чужие господа вам более по сердцу, чем ваши собственные дети!»

«Если бы не была моим ребенком, сказал бы, что ты не права; однако так тебе скажу, что ты угадала мои мысли. – Однако оставим это в покое, поскольку именно ты была предметом нашего разговора».

Но Мариенка в этом должно быть усомнилась, поскольку покачала головой и с полуулыбкой сбоку посмотрела на отца.

Заполы остановился, руки скрестил на груди, смотрел с любовью на свою дочь, и видно было, как его лицо словно бы освободилось от отпечатка прежних тревожных мыслей. Произнес: «Помнишь тех господ из Липтова, что были у нас две недели назад?»

«И что?»

«Разве они тебе больше понравились, чем мои нынешние союзники?»

«Почему вы меня об этом спрашиваете?»

«Почему тебя об этом спрашиваю? Посмотри-ка, как важно, как по-барски. – Знаешь, дитя мое, на это тебе ничего не отвечу. – Но который же из них тебе больше понравился?»

Посмотрела на него, округлив глаза.

Заполы улыбнулся: «Ну, не будем об этом – ты, как мне кажется», – улыбаясь, сказал палатин, – «о них уже совсем забыла. Видишь, Мариенка, те господа о тебе спрашивают, а тот черноглазый, помнишь, что был у нас, изгнан своим братом. Бог знает, где бродит», – и после небольшой паузы добавил: – «И все это для тебя».

Мариенка стерпела, не знала, всерьез ли ей принимать отцовы слова, или как шутку, но все же сделала вид, что поверила отцу и подняла на него большие черные глаза, которые словно спрашивали его о чем-то, о чем голос не хочет дать знать. Заполы не тот человек, которому видна нежность человеческого сердца; он со времен своей молодости настоящий воин и не обращает внимания, не замечает струнки и нити глазу невидимые, разуму неподвластные, но совершенно открытые сердцу, которое так часто составляет всю душу молодости. «Удивляешься, Мариенка? Не удивляйся этому. Но знай, я сделаю все, как ты пожелаешь; ты просишь меня заступиться за него и, видишь, ради тебя я сделаю, как сказал. – Мы, видишь, заключим союз, и тот несчастный брат за это должен будет поплатиться». Палатин говорил с полуулыбкой, но его речь, как

обычно, так и сейчас, не была без значения. Мариенка, хотя обыкновенно охотница поговорить, сейчас ничего не ответила и не спросила.

В эту минуту отворилась дверь – и показалась седая голова старого Вербочи. Заполы кивнул, и его приятель вошел, неся письма. Пан палатин его приветствовал, справился, какие есть новости. Вербочи показал письма и сказал: «Из Будина!»

Палатин подал Мариенке руку, пообещал, что тотчас к ней вернется. – Юная девушка склонила голову на руку и задумалась, то ли о своих чувствах, то ли о словах отца, то ли о чем ином, о том Бог ведает, но должно было одно с другим перемешаться, коль скоро ни горя не знает, ни от своих мечтаний никак не очнется. Однако ее задумчивость длилась недолго.

Брат Ян схватил ее за руку, встряхнул слегка и произнес: «Ты спишь, Мариенка, или мечтаешь? Иди, отец тебя зовет!»

«Отец зовет меня? А что говорит? Смеется надо мной?»

«Не смеется – нет о том и речи. Пришли бумаги из Будина, и отец топнул ногой, посмотрел на всех и говорит: «Корвин должен умереть, должен умереть».

«Чего же он хочет от меня?»

«Не знаю – только он, когда немного утих, отдал распоряжения, чтобы одни с этого времени с Корвина глаз не спускали, а другие чтобы ходили к земанам, от поместья к поместью, и собирали золото, вот тогда и пришло ему в голову позвать тебя».

Мариенка немного подумала, подумала – вздохнула, опустила глаза, взяла брата за руку и пошла с ним по комнатам тихо, беззвучно, покуда не пришла к дверям отцовской кабинета.

Господин палатин был уже один, стоял посреди комнаты, руки на груди скрестил, голова вверх поднята. Мысли буквально роились у него в голове.

Дети врошли; он уставился на них строгим взглядом, словно семейные дела не были сейчас предметом его важных мыслей. А в такие мгновения дети не привыкли спрашивать о его замыслах, но ждали, когда он к ним обратится. Палатин остался в том же положении и заговорил: «Мариенка, поедешь в Муран!»

«Хорошо, отец, если такова ваша воля».

«Завтра же разлучишься с нами».

«Уже завтра?» – спросил удивленно брат. – «А зачем так скоро?»

«Потому, что так хочет отец, сынок», – ответил отец. – «Ты останешься здесь, чтобы видел, как Заполы умеет смотреть в глаза своим неприятелям!» – Потом дал знак уходить. Мариенка ушла вместе с братом.

Господин Заполы был в действительности правителем целой страны; держал около себя друзей, которые выполняли его волю, и их решение принималось обычно как закон, поскольку палатин обладал такой силой, таким богатством, что чего хотел, того и добивался. Но главным его советником был Вербочи, с которым обыкновенно все предварительно обговаривал. Вербочи снова сидит один на один с палатином, который, отпустив детей, вновь полностью занят общественными обязанностями, а скорее всего – своим честолюбием. Человек, вознесшийся на такую высоту из нищеты, опираясь на силу духа, которая вела его по жизни, не мог остановиться на том, чего достиг; он должен, хочет того или нет, идти далее и своей неутомимой деятельностью продолжать работу, которая непременно либо преодолет все преграды, либо сама себя изнурит усердием. Пан Заполы, глядя на деловые бумаги, лежащие на столе, продолжает: «И так, Вербочи, на этом остановимся. Ты будешь завоевывать Будин, Харховский возьмет под свой контроль земаństwo, которое не только здесь, но и в Липтове должно через две недели быть на нашей стороне, Берзевицкий поднимет наших союзников в окрестных столицах – и Корвин не соединится с Польшей».

«Однако Корвин уже начал движение – и Липтов с ним, и вскоре он может сесть нам на шею».

Палатин улыбнулся: «Липтов с ним, пусть так; но что собой представляет этот Липтов? – Думается, он может рассчитывать на тех голодных панов братьев, которые лишь потому вылезают из своих дыр, что карманы пусты, и не на что пить вино. Дай им больше, и дай

действительно то, что Корвин обещает, и они пойдут за тобой хоть на край света. Стало быть, ты знаешь, что нужно с ними делать. Пошли кого-нибудь туда с полным мешком, пусть вдоволь кормят и поят их, ну и не забудут о Швонявах, и о бесправии, и о целом свете. А если боишься Корвина», – улыбнувшись, говорил далее, – «тогда, чтобы мы больше времени получили, пошли в Швонявы пару человек, пусть ждут его, когда он будет там путешествовать, ну и знаешь, что должны потом с ним сделать».

Оба хранят молчание, каждый понимает, что эти слова означают. Но Заполы все же вновь взял слово: «Таким образом, все, что начинаем, на этом основывается. Король кинулся в объятия нашего неприятеля. Его и должны уничтожить в первую очередь, тайно или на поле битвы; поляки с Владиславом раздвоятся и так ослабнут, что не смогут прийти ему на помощь, – а потом созовем сейм, покажем в правильном свете королевское положение – он вынужден будет отступить, далее все понятно, и тебе, и мне».

Около Муранского замка раскинулись прекрасные поросшие густыми лесами горы, между которыми сам просторный замок возвышается, словно господин над своими подданными. Когда солнце засверкает над теми горами, кажется, что хочет набрать у молодой зелени новых живительных сил, чтобы еще больше посвежить, похорошеть. Высокие ели и широкие буки закрывают своими кронами во все стороны простирающиеся долины, а тут и там вдали, на выходах из долин проглядывают ветхие деревеньки, белеющие тут и там земанскими усадьбами.

Однако возле самого Мурана, в его окрестностях нет ни одной деревеньки; пройдешь и час, и два, прежде чем в той или иной стороне найдешь такую деревню. Но было бы большой ошибкой думать, что около замка или в соседних горах тихо, пустынно. Тут часто слышатся лай собак, звуки труб, переключка людских голосов, поскольку господа по-соседски сходятся глубоко в горах и забавляются охотой в свое удовольствие, и к тому же Муранский замок настолько надежен и силен, что может тут стоять вполне обособленно, и потому видать здесь ежедневно вверх и вниз идущих людей, и господ земанов, и бедных крестьян. Муранским замком держится Чемерская столица и угрожает краям, расположенным ниже ее, отсюда же мощь, отсюда сила простирается вниз, а горные края своей силой подпирает; поэтому каждый вынужден заботиться о том, чтобы с этой стороны себя обезопасить с его господами пребывать в дружбе, ибо в домашних распрях сам Муран зачастую больше значение имеет, чем семьдесят семь других замков.

Засверкало солнце над Мураном и залило своим светом прежде всего его старую башню, его седые стены. На вершинах гор поцеловало зеленые буки, а в долинах еще темно, еще тихо и только шепот зеленых листьев и звуки наступающего утра, которые мало-помалу пробуждают ото сна и горы, и доли, и возрождают каждый листок, каждую ветку, каждый цветок, наполняются в долинах и бегут по своим руслам журчащие ручейки вниз, вниз, пока не замолчат.

А по долине идет неспешно, свободно быстрая серна; крепки его ноги, широка ее шея, ясен ее глаз, гладкие у нее рожки – идет себе, идет, сгибая шею, и озираясь вокруг по лесной тени, вытирает и головой, и ножками за собой холодную росу, скребет хребет заостренными рожками и почесывается, разгибается как ленивый человек, который с утра все еще нежится в постели, хотя солнышко уже поднялось над людскими жилищами. Вдруг поднимает вверх широкую шею, поводит головой налево и направо, посматривает темным глазом вокруг, внезапно топает ногами и убегает прочь, словно его тут никогда и не было. Но тут вдалеке залаяли псы – гав, гав, гав, – и их голоса разносятся по горам, по буковым рощам, и затихают, и снова доносятся, поскольку собаки то теряют след, то вновь его находят, и это продолжается так долго, что голоса собак слышатся сначала в отдалении, потом угасают и исчезают вовсе.

И в это представление пробуждающегося утра лесными тропами, горными склонами, долинами вступает юный стрелок: лицо его загорело, фигура его стройна. На плече у него висит кожаная сумка, на зеленом шнуре – труба со сверкающим желтым мундштуком и отворотами, обитыми такой же жостью, а на левом плече – короткое надежное ружье. Охотник идет спокойно; его собаки зарычали, затаивали, но кажется, что это его не радует, что он отправился на охоту вовсе не потому, что охотничий азарт еще затемно прервал его спокойный отдых, он должен был глубокой ночью оставить свой дом, либо всю ночь провести в засадах, если в столь ранний

час забрел так глубоко в горы. Смолк лай собак, а охотник как раз вышел на вершину, самую высокую среди гор, которые лежат на дороге между Мураном и Телгартом, тут он затрубил раз, другой, и собаки отозвались в отдалении, и прошло достаточно много времени, прежде чем запыхавшиеся, разгоряченные, они вернулись к своему хозяину.

Но ветерок, сорвавшийся с горных вершин, доносит с разных сторон новые голоса, столь отдаленные, что только искусственному охотнику, который привык различать звуки охотничьих труб так же, как различает дома плач и крики собственных детей, удастся расслышать тут лай гончей, там завывание трубы, там выстрелы ружей. А наш юный охотник поднимает голову и кажется глазами хочет заглянуть за дальние дали, за бесконечное море гор и лесов. Говорит сам себе: «Еще далеко!» – и пускает своих собак снова в лес, и исчез в гуще деревьев.

Над дорогой в лесах, прилегающих к Муранскому замку, раскинулась между деревьями прекрасная поляна, широкая, ровная; угольщики заготавливают здесь сено, а путники по-обыкновенно отдыхают. Наступает полдень, и на поляну начинают сходить охотники и с одной, и с другой стороны; ружья стреляют и трубы отзываются в горах в знак того, что еще больше охотников сойдется. Господа из корвиновского лагеря – из Гемера, и из Липтова, и из Спиша – договорились, что встретятся здесь, поскольку не так-то легко сейчас, когда все гибнет, собраться вместе людям из нескольких столиц, а сверх того господа привыкли и развлекаться вместе и обсуждать, что следует предпринять. На границе сразу трех столиц сошлись друг с другом лицом к лицу, чтобы ни одному, ни другому не было нанесено обиды; поскольку если ты меня уважаешь, уважаю и я тебя, если ты меня охраняешь, охраняю и я тебя. И хотя господа принадлежали к одному лагерю, поскольку иначе и не сошлись бы, каждый в первую очередь ожидал от другого учтвого поклона, приличного обхождения. И нет в этом ничего нового, что охотники из нескольких столиц устраивают где-либо совместную охоту.

Крестьяне, слуги несут на спинах зверей, снимают сумки, в которых есть вино, хлеб и прочая еда, поскольку охота длится много дней, и господа ночуют в горах.

«Будьте здоровы, ваша милость, пан брат, будьте здоровы», – раздается со всех сторон, и пришедший стреляет из ружья, присутствующие тоже стреляют в знак приветствия, в знак дружбы, и суматоха, крик, разговоры поднимаются над огнем костра. Но самые сильные крики раздались, когда появился наш юный охотник, идущий от Мурана. Сначала паны братья повернулись в ту сторону, откуда появились псы, а потом, когда фигура юноши показалась, мужчины повскакивали с мест, иные подбрасывали в воздух шапки, и крики: «Виват Червень! Виват Червень!» – раздались, и трубы зазвенели, раздался свист, ружья загремели со всех сторон.

«Нужели это действительно вы, Яничко», – говорит один. «Но ради Бога, откуда вы здесь взялись?» – отзывается другой. «Вот это нас радует, это нас радует», – приветствует его третий. «Именно вас тут недоставало, вас; виват, виват!» – кричит четвертый, и горы отзываются «Виват!»

А пан Червень кланяется, подает руку, прижимает панов братьев к своей груди.

А паны братья расправляют усы так, словно все у них хорошо, глаза их так блестят, словно все они уже достигли желанного счастья, и поправляют шапки на головах так, словно их распирает от гордости за сегодняшний день.

«Ну, размещайся, Яничко, размещайся!» – говорит пан Лужицкий. – «Да, давно мы тебя не виделись, к сожалению, где же ты уединился, что от тебя ни слуху, ни духу?»

«На лугах моей усадьбы», – отвечает пан Червень.

«Как? И что вы там делали? Мы-то думаем, что вы в Склабине так же хорошо сидите, как ваш брат в Ликаве», – говорит пан Краль Спишак из Менгусовец.

Пан Червень не ответил на это ничего, лишь головой кивнул, приставил ружье к дереву, повесил и сумку, и трубу на сук, сел меж двух панов и осведомился, что у них нового.

«Разве вы не знаете, пан брат? Идем в Польшу помогать против турок, а сейчас, пока подойдут наши силы, коротаем время за охотой».

«Это плохо, господа, – неужели не боитесь, что Заполы обойдет и запалит крыши ваших домов?»

«Ну, ваша милость, пан брат, кто бы до этого додумался», – ответил Краль. – «Пусть попробует запалить, если ему нравится, но я так ему скажу, что ни судиться, ни браниться с ним не стану, но пусть потом вся сволочь, что с ним держится, остерегается, как бы и у них красный петух на крышах не закукарекал, если уж он такой бесчестный человек, так закурим, что он задохнется в своем волчьем логове. – Не шали с нами потом. Мишо, возьми стаканы, выпьем, за здоровье Корвина: виват Корвин!»

Тут уж господа оживились. Фляги, к сумкам привязанные, пошли по кругу, этот пьет стоя, тот – сидя, старый, молодой, сразу видно, что господа немало прошли, настолько велика их жажда и так непросто ее утолить. Меж тем загонщики и слуги соорудили все необходимое для запекания дичи, и за короткое время приготовили такой пир, какого еще лет двадцать горы и доли не видели, во всяком случае, с тех пор, как король Матиаш перестал охотиться на Королевском гольце и в окрестностях Мурана. И вот когда паны то ли за обед, то ли за подник засели, и наступило общее веселье, тут со стороны Спиша послышался конский топот, тарыхтение экипажа и щелчки бича; и хотя охотники начали очень весело, хотя в их стане царили смех и крик, и обыкновенный гвалт, все же, услышав это, они поневоле обратили свои взгляды в ту сторону, откуда доносился стук копыт, и тотчас улыбки погасли на их лицах, разговоры смолкли на устах, и шум уменьшился в их кругу; сидящие повскакивали, пирующие оставили еду и питье, и вскоре вместо стаканов в их руках виднелись ружья.

Тут на дороге, ведущей из чащи, показались четыре всадника, великолепно экипированные, хорошо вооруженные. Зеленые доломаны с белыми шнурами ясно указывали, чьи это люди, поскольку каждому известно, что именно так одевает своих слуг Заполы. За ними двигался возок, в нем сидели две женщины, закутанные настолько, что лиц не видно, а возле кучера – еще один хорошо вооруженный мужчина. Видно было, что эти мужчины даны женщинам для охраны не только от непредвиденных опасностей, но и от «добрых хлопцев», которые издавна шатаются по этим горам, тут и там наводят страх не только на шалаши и кошары своим: «Боча, ради Бога, реж телку, дай сыру и жинчицы!» – но и на путников, пугая их из-за придорожных букв своим: «Отдай Богу душу, а нам деньги!»

«Это запововцы, это запововцы!» – произнес кто-то из охотников.

«Долой их, долой!» – в один голос отозвались охотники наполовину в шутку, наполовину всерьез; но пан Червень сказал: «Господа, успокойтесь; в другом месте мне дела нет, делайте что угодно, но в горах нападать на кого бы то ни было – это позор!»

«Позор, не позор! А разве запововцы нас отпустили бы?»

«Ба, не посмотреть ли, что за ласточек они с собой везут, не вдруг-то увидишь в горах красивое личико и искристые очи!» – проговорил один.

«Ни к чему», – ответил на это другой, – «а ну как вместо красивого личика увидите какую-нибудь шестидесятилетнюю образину, на лице у которой вместо искрящихся глаз – затмение солнца, то-то у вас губы отвиснут, словно вместо меда белены отведали».

«Полно трепаться, птенцы желторотые», – оборвал пан Краль из Менгусовец, которому вспомнились слова Червеня: – «расчирикались до рассвета, и невдомек вам, что, может, это Заполы, покуда вы по горам лоботрясничаете, ваших дочери, жены или сестер словно птенцов из гнезда повыбрал, и вот сейчас посылает их прочь, Бог знает куда, на край света, чтобы вы волосы на голове рвали и зубы скрипом повыламывали, когда вернетесь к своим домам и найдете их пустыми!»

Слова эти подобно искре облетели охотников и, словно все так и было, как пан Краль сказал, груди их стали вздыматься, а те, кто помоложе, словно желая убедиться в правоте этих слов, помчались к дороге.

Приближающиеся конники все это видели, и то, как поскакали, и то, как за ружья схватились, и как некоторые навстречу им устремились; но ни один даже глазом не моргнул, не шелохнулся, так и продолжали, никого не замечая, двигаться рысью, и уже приближались к

ближайшим охотникам. Это тех еще больше распалило, и они набросились на путников, словно львы, и закричали: «Стой!»

«Ну и в чем дело?» – ответили совершенно спокойно прибывшие.

«Кто вы?»

«Что вам до этого?»

«Чьи вы?»

«Это вас еще меньше касается», – отвечали заполовцы.

«Как смеешь ты так отвечать благородным людям?» – закричал юный пан Карас, юноша высокий, с широкими плечами и золотистыми усами. – «Эй ты, негодяй, знаешь ли, кому так отвечаешь?»

«Хлопцы, гони, вперед!» – прикрикнул начальник гайдуков на своих людей, даже не глянув на пана Караса; и кони тронулись.

Это только подлило масла в огонь. Охотники все ближе и ближе подходили к путникам, а пан Карас тем больше краснел, чем хладнокровнее держались всадники, он ухватился за узду всадника, который выглядел главным среди гайдуков, дернул ее и заговорил гневно: «Ты мне все же ответишь, шельма кандалная! Куда идете? Что везете?»

Начальник гайдуков посмотрел назад, на кучера, который стоял позади спокойно, на женщин, которые испуганно прижимались одна к другой, еще плотнее закрывали лица, и спокойной ответил: «До этого тебе еще меньше дела! Едем дальше! Кучер, гони!» – сказал и вонзил шпору коню в бок. Конь двинулся, взметнул передние ноги вверх и сбил Караса на землю, который растянулся так, словно еще подросток.

То, что началось из чистого озорства, приняло плохой оборот. Пан Карас лежал на земле, а второй гайдук, выполняя приказ своего начальника, пришпорил коня, тот встал на дыбы и наскочил на человека, лежащего на земле. Но и этого было еще недостаточно; кучер тоже пустил своих коней, запряженных в экипаж, и должен был не только конями, но и возком переехать Караса. Тут охотники закричали словно неистовые, и от того великолепного общества, от веселых шуток не осталось и следа, лишь толпа возбужденных людей, которых возмутили смелые ответы простого гайдука, отважившегося так отвечать пану земану, а потом и опасность, которая ему угрожала. Охотники выхватывают ножи, заряжают ружья, окружают прибывших так, что иного пути, кроме как через людей, у них не остается. Заполовцы вытягивают сабли и принимаются размахивать ими. Однако это не испугало охотников. Пан Карас шевельнулся, вскочил на поврежденные ноги и принялся стягивать с коней всадников, одни охотники помогали ему, другие, возбужденные увиденным, стали штурмовать повозку. Вооруженный человек, который сидел возле кучера и якобы показывал дорогу, встал и, перекрывая голоса и шум, закричал: «Господа, что вы делаете? Мы едем из Спришского замка, я такой же земан, как и вы, именем палатина Венгрии приказываю вам: разойдитесь и оставьте нас в покое!»

«Эй, именем палатина ты мог приказывать твоим негодяям, чтобы они, когда их порядочный человек о чем-либо учтиво спрашивает, так же учтиво отвечали; уж если ты земан, ты не позволил бы твоим коням топтать другого земана словно дохлятину; долой его, долой!»

И охотники добрались до сидящих на возке мужчин и женщин. Последние тряслись, словно росинки, и так прижимались друг к другу, что казалось, будто это одно тело, один человек, и только тревожные голоса свидетельствовали о том, что их двое. Но вот один из охотников приблизился и стянул платок с головы у одной из них, тут пан Червень, который последним приближался к заполовцам, покраснел, глаза его засверкали, нижняя губа дрогнула и, могучей рукой отстраняя идущих впереди товарищей, без всяких околичностей вскочил он прямо на возок и закричал громким голосом: «Господа, в сторону! Первый, кто приблизится к экипажу, будет сражен моей пулей! Кучер – гони, гони вперед!»

Господа охотники, опустив руки, прекратили недостойную их работу, за которую принялись под влиянием разыгравшихся страстей. Кучер дернул поводья, гайдуки дали коням шпоры, в то время как паны братья, друг на друга глядя, как будто решить не могли, что им делать и как все это понимать, лишь наблюдали. Тем временем и всадники, и экипаж, и Червень исчезли как

сон, который, как нам кажется, мы уже видели когда-то, а может, нам это на ум пришло уже в состоянии бодрствования. Карас произнес:

«И этот такой же, как все прочие, никому не верю!»

«Отступническая кровь, отступническая кровь», – грустно вздохнул, как бы сам с собой разговаривая, Лужинский.

Однако пан Червень об этом даже не думал; что ему недавние спутники! Его появление произвело большое впечатление на путешественников, в то же время они не узнали, кого приобрели в качестве защитника, будь что будет, он избавил их от неприятных мыслей о том, что Бог знает чем могло закончиться, они понемногу успокоились, и пан Грабовский, тот что сидел возле кучера и был проводником, горячо поблагодарил его за посредничество, упомянув, что пан Заполы никогда ему этого не забудет. Потом он спросил имя и звание Червеня.

Тот с достоинством отвечал: «Оставьте, пан мой, вы переоцениваете мои заслуги, я заботился лишь о том, чтобы у вас не сложилось мнение, будто мои знакомые, с которыми сдружился, хуже чем они есть на самом деле. Это они по легкомыслию ввязались в перебранку, даже не думая, что дело может пойти так далеко».

А после небольшой паузы, во время которой без сомнения размышлял, какое же решение вынесет ему судьба, произнес: «Однако, господа, вы уже в безопасности, и мы можем расстаться. С Богом, панна Мария, с Богом, панна Анна, с Богом и вы, господа!»

Женщинами овладел еще больший страх, и прежде чем Червень отошел, Мариенка, дочь Заполы, окликнула его своим прекрасным, но все еще дрожащим голосом: «Нет, ради Бога, нет, пан Червень, только не сейчас, вы должны нас проводить до самых Муран».

И глаза, и уши Червеня упивались этими словами, а лицо показывало, как повлияли они на его душу, поскольку на лице его смущение смешалось с радостью, румянец с бледностью; и все же, хотя сказанное буквально очаровало его сердце, он не решился принять такое лестное предложение.

Панна Анна, тетка Мариенки, сразу заметила это, но и она поначалу растерялась и не вступила в разговор, как это следовало бы, однако сейчас сказала: «Действительно, пан, мы вас даже не поблагодарили, а так, вы же знаете, не полагается».

«Действительно, тетушка, пусть пан Червень едет с нами – мне страшно, а его все слушаются; уговорите его, тетушка, уговорите».

«Хорошо, дитя мое, хорошо», – отвечала панна Анна с улыбкой. – «Он благородный, воспитанный человек, и хорошо знает, что бросить нас не может, поскольку раз уж он соизволил нас защитить, то просто обязан нас сопровождать, коль скоро мы его приглашаем. Разве я не права, пан Червень?»

Червень радуется, что может и дальше путешествовать рядом со знакомыми, а еще более, что может одним воздухом дышать и лицом к лицу названиваться с девушкой, которая завладела его душой, очаровала его мысли, заполнила его сердце. О прочем он сейчас и не думает – чувство блаженства переполняет его, а тот воздух, которым он дышит, удваивает его жизненные силы, его радость. Потому и он сам, и выражение его лица, и манеры исполнились великолепия, подобно тому, как после долгого ненастья весеннее солнце заливают огнем вершины наших гор, а взгляд его, еще недавно омраченный многочисленными заботами, обязательствами и обязанностями, засверкал огнем силы и мужества, ибо если нет ни хлопот, ни обязанностей и обязательств, так зачем же сдерживать порывы души, зачем удерживать стук сердца? И его лицо заливается румянцем, легким, но придающим ему ту самую замечательную живость, а его голос становится тем голосом, в котором сочетаются и мужская сила, и робость, и бесконечная нежность, которые безошибочно сражают женское сердце, когда оно знает о том, что эти звуки обращены к нему, и задыхается от приятных созвучий. Бедная Мариенка! Она все это чувствует, она догадалась о движениях сердца своего приятеля, ей так хорошо и, одновременно, так плохо, она радуется его близости, и в то же время не может выразить эту радость; когда он говорит, она слушает его как зачарованная, а когда отвечает, голос ее звучит неуверенно, а слова несвязны; стоит ей посмотреть на его лицо, засмотреться на его оживленные глаза, и

гордость переполняет ее, и думается ей, что подобного ему красавца на целом свете нет. Если их взгляды случайно встречались, она отводила взор, но тотчас украдкой на него поглядывала, словно он был солнцем, вокруг которого вращалась вся ее жизнь.

Знаешь ли, что с тобой, Мариенка?

Так добрались до Мурана. Приветствиям не было ни конца, ни края. Пан Торналли и его супруга с радостью приняли родственников. Пан Харховский вернулся в Спиш, а Червень волею-неволей должен был остаться в Муране, поскольку панна Анна представила его как старого знакомого по Спишскому замку, к которому Заполы был так приветлив, и рассказала, из какой опасности он их вызволил, да описала это такими яркими красками, что если бы все это было правдой, не было бы под солнцем большего геройства, чем та помощь, которую он оказал путешествующим женщинам. Червень оправдывал своих союзников, возлагая всю вину за это происшествие на надменность и неловкие ответы гайдуков, ну и на буйство некоторых молодых людей, так что и Харховскому было наказано, чтобы по крайней мере про свою участь в Спише не вспоминал. Однако Мариенка всему этому не хотела верить и поддерживала тетушку во всех ее утверждениях, во всяком случае, взглядом она выражала согласие с каждым ее словом и по обыкновению опускала голову, когда речь заходила о Червене. А когда тетушка попросила супруга хозяина дома, чтобы они ненадолго задержали Червеня, и когда супруга хозяина дома стала его упрашивать, чтобы он, по просьбе их гостей, отдохнул здесь несколько дней, тут Мариенка бросила на нее мимолетный взгляд и хотела улыбнуться, но тотчас улыбка, как сон младенца о его будущих подвигах, слетела с ее губ и угасла, словно этим могла она выдать о себе Бог знает что, на лице ее выступил румянец и выдал явное волнение. Хороший или недобрый это знак для юноши, не знаем.

Червень остался в Муране то ли как свой человек, с другой ли какой-нибудь целью, неизвестно; ну так что? Забот у него никаких, и он вполне мог располагать своим временем. В Муране его знали с младенческих лет. Род Червенов происходил как раз из Червонной Скалки – маленькой, ничтожно усадьбы под Краловым гольцом, – откуда и получил свое название. Рассказывали, что эта усадьба в татарские времена была здесь основана на отшибе от остального мира. Однажды, тотчас после роковой битвы при Шайяве, когда побежденный Бела пустился наутек, а татары все опустошали и кровь людскую проливали словно воду, предок семейства Червенов собрал своих подданных и укрылся здесь, глубоко в горах, от собакоголовых, как называли татар; да и самого короля Белу здесь укрывал, спустя короткое время на месте первых шалашей поднялись дома, да и сам Червень, не доверяя смутным временам, поставил здесь походную избушку, вскоре после того как татары ушли из этих краев, королю Беле не потребовалось это пристанище, и он перебрался в Венгрию. Так появилось поместье Червона Скалка, а от него и Червени стали прозываться Червеньями. И хотя семейство это здесь больше не проживало, однако в память о том, что король Бела нашел здесь убежище, обязательно летом кто-нибудь приезжал сюда на пару недель, в течение которых продолжалась охота и прочие забавы. Король Матиаш любил этот северный гористый уголок своей державы и часто целые недели проводил в наших горах, развлекаясь охотой. Кролевский голец был его любимым местом, почему, собственно, и получил свое название. Поговаривали, что короля не столько охота, не столько смекалка и авантюризм панов братьев земанов, с которыми бродил по горам и лесам, интересовали в этих краях, сколько черные очи панны Катарины, дочери Йозефа Червеня, который распорядился, когда Матиаш впервые в тех местах появился, свой дом в Червонной Скалке красиво побелить, заново покрыть, тщательно вычистить, и с гордостью поселился здесь со всей семьей, чтобы всему миру мог сказать, что он принимал в своем доме короля так же, как когда-то предок его принимал Белу, ибо тот хорошо знал, что может здесь остановиться. Однако ему это тщеславие и гостеприимство дорого обошлись. Матиаш очень любил приключения, и не живя в согласии ни с первой своей женой Катариной Подебрадовой, ни следом со второй, Беатрисой Неаполитанской, которую скорее по другим соображениям, нежели по собственному расположению взял в жены, тем усерднее смотрел он в глаза юным красивым девушкам, а порой и гораздо глубже заглядывал, чем требовалось. Катенька Червень была красивой девушкой, а Матиаш – прекрасный, плдаменный

мужчина; вот так, придя в Червенеу Скалку, он и расположился здесь как дома. Поначалу это очень польстило пану Йозефу, но со временем, когда он заметил, что в самый разгар охоты король вдруг исчез, и спутники поначалу долго ждали его, трубили, тщетно рассматривая горы, возвратились к Червеню, и тут нашли его вполне беззаботно сидящим, а расспросив, узнал от слуг, что он тут долго с Катенькой исповедовался, все это ему разонравилось. Господа были голодны, а ужин долго не начинался, когда же начался, выяснилось, что все было плохо приготовлено; отец хмурился, гости поглядывали друг на друга, и только Матиаш ел с аппетитом, находя что все очень вкусно приготовлено, так что и гости, хотели они того или нет, вынуждены были с ним соглашаться. То же произошло на второй, и на третий день, так что в конечном счете это стало пана Йозефа беспокоить, из-за чего он с этого времени не отходил от короля ни на шаг; однако тот, раскусив его замыслы, задел другие струны. Стал он около него крутиться, расспрашивать о семье, о предках, и пан Йозеф, однажды к слову пришлось, сказал, что предок его с королем Андреем был в Святой земле, вот и все; но когда однажды повел речь о том, как при Беле стояли против татар у Шуявы, этому преданию не было ни конца, ни края. Пан Йозеф был этим настолько удовлетворен тем, что может с самим королем говорить свободно, что у него отлегло от сердца; и все же ему не нравились взгляды, которые Матиаш бросал на его дочь, и ее смущение, когда она несомненно прислушивалась к словам этого горячего молодого мужчины с большим вниманием, чем это полагалось. Так вот, по окончании охоты отправился он прочь из Червонной Скалки и более уже не желал сопровождать своих приятелей в горах, если знал, что король пришел в северные столицы и развлекается там охотой, поскольку он знал его слабости, и понимал, что женщине, на которую Матиаш сети своих глаз набросил, никогда из них не выбраться. Но каким бы мудрым ни был пан Йозеф, он-таки остался в дураках. Люди часто видели, как в его дом, когда хозяина не было, входил, а потом выходил охотник в зеленом одеянии, носивший на шляпе большое перо, и часто его провожала женская фигура, потом возвращавшаяся в одиночестве с понурой головой. Злые языки чего только не нашептывали о Катеньке, так что утаить что-либо было невозможно. Панна Катарина родила сына. Старый Червень скрежетал зубами, сыпал проклятьями, бушевал, но что он мог поделать? Охотник в зеленом одеянии пришел в его дом, не отказывался быть отцом внука Червеня и обещал ему, что по-королевски будет заботиться о новорожденном. Однако Червень, роняя слезы, покачал головой и, даже не глянув на своего гостя, отвечал: «Нет, нет, ваша милость, пан король! После того, как наш благородный род, который так доблестно служил своим королям и при Андрее, и при Белле, так опозорен, я не приму от вас ничего, а это дитя пусть будет Червенеу, как и я». А потом глухим голосом произнес: «И пусть будет честным человеком, как я». И ничего, ничего не позволил сделать королю Матиашу кроме того, что разрешил окрестить это дитя в честь отца Яном, и вскоре так случилось, что сам пан Йозеф сражался под руководством покойного Яна Корвина, губернатора Венгрии.

Так уж повелось на этом свете. Король Матиаш то ли забыл, то ли не мог вернуться в эти места, и бедная Катинька, которая любила его, ждала и год, и два, а он и глаз не показывал. Она по нему чахла, чахла, да и зачахла. Старый Червень после ее похорон вытер слезы и находил утешение во внуке; когда же его голова побелела словно яблоня весной, а внук подрос, он сказал ему: «Сын мой, ступай за своим отцом, ты еще молод, а я уже близок к могиле, когда меня не станет, мир забудет о тебе, и было бы обидно, если бы ты не последовал примеру твоих предков, которые следовали за Андреем и королем Белой, ну и примеру твоего отца с Яном Корвином». И он отправил его в Австрию, где в тот год воевал король Матиаш. Ян Червень, несмотря на юность, служил потом в Черном полку Матиаша, и его престарелый отец еще при жизни имел счастье услышать, что не по королевской милости, а собственным мужеством добыл он себе почетное место в Черном полку. Вслед за тем бедняга старый Йозеф Червень сошел во гроб.

Тогда о происхождении Червеня знал каждый, а люди до сих пор показывают место, где охотник в зеленом, сам король Матиаш, расставался с красавицей Катенькой. В Муране об этом знали не хуже других, и потому пани Торналли охотно задержала Червеня в своем замке, понимая, что по своему происхождению и заслугам он является блестящим гостем. А Мариенка

Заполы? Она не сказала ни слова, но видно, что вполне довольна своим нынешним положением. Когда пани Торналли удержала Червеня, а панна Анна принялась его уговаривать, а он поначалу отказывался, но в конечном счете согласился, язык у нее развязался, лицо прояснилось и на нем, едва ли не впервые с тех пор, как на горной дороге случилось с ними это неприятное приключение, появилась обычная для нее улыбка.

На следующий день пан Торналли ушел из дома, а слуг своих разослал к приятелям по всей округе, по этой причине в Муранском замке стало пусто и тихо, а женщины, предоставленные сами себе, развлекались, как умели. Пожилые тянутся к пожилым, поскольку и убеждения, и чувства их сближают, но если возраст различен – что же молодые? Они охотно развлекаются в обществе пожилых, но предпочитают видеть вокруг себя предметы, которыми не только очаровываны их мысли, наполнено сердце, но к которым они тянутся всем существом своим, всей душой, и радуются, когда нет нужды слушать мудрые слова старших, но есть возможность все мысли и чувства свои без остатка посвятить лицам, к которым прильнула их душа. Вот почему хозяйка дома, желая развлечь панну Анну, беседует с ней обо всем, а Мариенка с Червенею, как старые знакомые, которых происшествие в муранских горах сделало еще ближе, не разлучаясь ни на минуту, в полной мере пользуются уединением и с упоением опорожняют бокал наслаждений, до сей поры неиспытанных. Им вполне достаточно и того, чтобы дышать одним воздухом, обмениваться любезностями, смотреть друг на друга; однако словом еще не высказано то, что чувствует сердце, чего требует душа, хотя оба знают, что навеки принадлежат друг другу, потому что уста его молчат, но взгляд говорит: «Ты моя!», так же как и ее взгляд, ее улыбка говорят: «Ты мой!»

Вот уже третий день, как Червень развлекается в Муране, а ему и в голову не пришло уезжать, поскольку пани Торналли непрерывно дает ему дружеские советы и обходится с ним, как с домашним, а когда Мариенка к нему слово молвит, кажется, что он ни о чем ином не думает, как только о благодарности хозяйке дома, которая предоставляет ему возможность находиться под одной крышей с девушкой, перед которой преклоняется его душа. На третий день застучали копыта во дворе замка. По зеленым ментикам и белым шнурам видно, что прибыли люди из Спиша от пана Заполы. Червень, не желая вмешиваться в заповольские дела, ушел в свою комнату. Пани Торналли приняла Харховского в зале, который с поклоном осведомился о пане Торналли и, получив ответ, что его нет дома, стал с беспокойством спрашивать, когда он вернется, при этом морщины на его лбу, которые появились после того, как он услышал ответ, достаточно ясно выражала, насколько важно для него присутствие муранского хозяина.

Пани Торналли это тотчас заметила и потому спросила: «Эй, эй, молодой человек, неужели вы для нас из Спиша ничего не привезли? О, да вы ничуть не лучше Заполы, который о своей сестре и о дочери забывает».

«Неправда, ваша милость, неправда», – ответил Харховский, – «я должен выполнять то, что приказал мне пан Заполы, а сейчас я должен как можно скорее переговорить с паном Торналли, должен еще сегодня, поскольку это строгий приказ пана Заполы. Но и для вас я привез от него послание».

«Что бы это могло быть?» – спрашивала хозяйка дома, а потом со смехом добавила: – «Ну, да, чтобы мы приготовили сабли и шли искать пана Торналли, чтобы с ним ничего не случилось, если ему в горах неприятели встретятся, и шли бы защищать мужчин, если они нас защитит неспособны!»

Хорковский зарумянился, поскольку понял, что это намек на него, но подавил свое порыв и, пытаясь улыбнуться, ответил с поклоном: «Какой смысл нам защищать вас, когда защитники вам с неба падают, и сам Заполы скорее им, чем нам, оставит вас на попечение».

«Что ж, неплохо сказано», – заявила в ответ хозяйка дома, – «но разве в том была воля Заполы?»

«Этого я не знаю», – последовало в ответ, – «однако сейчас у меня есть точный приказ: Торналли и его супруга должны любыми средствами задерживать у себя Червеня!»

«Ну, для этого нам и приказа Заполы не нужно», – ответила хозяйка дома, – «поскольку если бы он ушел, нам оставалось бы смотреть на башни замка, а уж куда приятнее видеть черноокого юношу, нежели размытые дождями стены, – разве не так, Мариенка?»

Та поначалу держалась так, словно ничего не слышала, потом, видя, что все взгляды обращены к ней, ответила с полуулыбкой: «Ну, почему бы и нет».

«Впрочем, Мариенка, тебя это не касается», – проговорила пани Торналли, – «надеюсь, что ты и не расслышала того, чего тебе слышать не полагается. Иди и развлекайся со своим черноокиим донжуаном, если это даже твоему отцу угодно».

Мариенка обрадовалась, что может удалиться, поскольку видит, что тетка при посторонних начинает поддразнивать ее, – а этого боится каждая девушка при первом пробуждении своих чувств, заблуждаясь, что этого никто не знает, и никто не замечает, что закипает в ее сердце. После ее ухода Торналли стала спрашивать Харховского, с чего бы это вздумалось Заполы задерживать Червеня, говоря: «Неужели он хочет с Корвинами породниться? Не получилось с одним, хочет попытаться с другим».

«Хм», – отвечал Харховский, – «вряд ли, ибо пан Заполы наказал слово в слово: «Скажи пану Торналли, чтобы любыми способами постарались задержать Червеня, если уговорами не удастся, тогда силой». Тут смысл другой. Если Заполы говорит «силой», это у него никогда не означает приязни. Простите, ваша милость, что говорю об этом вам, поскольку должен был передать это лично хозяину дома».

Продолжение разговора прервал приход Торналли, хозяина Муранского замка, который, получив из рук Заполы Муран, подаренные тому королем Матишем, был сейчас одним из главных его приверженцев. Торналли тотчас удалился с Харховским в боковую комнату и там беседовали долго-долго.

Тем временем пани Торналли нашла Червеня и Мариенку и сказала: «Ступайте, дети мои, вниз, уже достаточно сидите в этих стенах, сходите прогуляться в долину; а вы, пан Червень, возьмите с собой ружье», – добавила она, но уже без улыбки, – «мало ли что может встретиться на пути, вы же знаете, что Мариенка легко и зайца испугается».

Как сказала, так и получилось. Червень с Мариенкой миновали ворота замка, спустились в долину, и полной грудью вдохнули здесь, на приволье, в окружении зеленых гор и чистого неба, над ними распростертого. Как прелестны эти мгновения полного уединения.

Однако Червень грустен, хотя всего лишь час назад он все отдал бы за это мгновение, за возможность остаться с Мариенкой наедине; а сейчас сам не знал, как это могло произойти, что даже не думал о ней, то ли зеленые просторы, то ли воспоминания, то ли беззаботная жизнь тому причиной. Мариенка смотрит на него, пытается понять, что с ним происходит, но напрасно над этим ломает голову, наконец спрашивает: «Какая дорога ведет на Луку, пан Червень, где вы сейчас пребываете?»

«Та, что бежит вниз, Мариенка, направо».

«Неужели вам не скушно здесь одному, в то время как за многие годы, проведенные в армии, вы привыкли, что там, на Склабине, вас окружают паны братья целой столицы?»

«Если бы я был сейчас в Склабине, то не мог бы быть в Муране, а один час с вами для меня дороже, чем Склабинга и Турец».

Мариенка поняла его, заржелась, глянула на своего спутника и, встретившись с ним взглядом, склонила голову, вытерла украдкой щеки, словно ничего и не было, словно не расслышала его слова, и, желая прервать молчание, сказала: «Ничего не случится, мой отец в последнем разговоре сказал мне: «Подожди, этот неблагодарный брат должен за все заплатить – стало быть мой отец к вам...»

«За все заплатить?» – прервав Мариенку, произнес Червень, растягивая слова.

«Да, да», – прервала его речь бедняжка, плохо понимая смысл слов своего спутника и полагая, что это льстит его сердцу, – «да, мой отец к вам благоволит, и даже сейчас через Харховского он наказал дядюшке с тетушкой, чтобы ни в коем случае не отпускали вас из

Мурана». А затем, в невинной радости, буквально так, как дети, когда им что-то нравится, продолжила: – «Да, да, тетушка вас не отпустит, и вы сотанетесь с нами, с нами, с нами!»

Червень это пронзило сердце. Он-то знает, что значит слово Заполы и его решимость, понимает, что означает это «за все заплатить»; он понимает, что задержка в Муране ни ему, ни его брату ничего доброго не сулит; и все же – это его дочь, зеница его души, говорит таким голосом, что в звучании его сокрыто все очарование тайной любви, а этим троекратным «с нами, с нами, с нами» сказано гораздо больше, чем могли бы сказать сухие слова, одной фразой обозначив то, что занимает всю суть, всю душу, все сердце юной девушки. Глянул юноша в глаза девушке, и забыл о брате, о Заполы, обо всем на свете, прижал он девушку к своему трепещущему сердцу, и она чувствует, что наступила та чарующая, самая сладкая в человеческой жизни минута, когда душа с душой сливаются; он прижимает ее к своей груди, а она не противится, он целует ее в лоб, в полуприкрытые глаза, в уста, и поцелуй этот долог, посольку юноша все более настойчив, а девушка не сопротивляется, посольку лишь чистое небо тому свидетелем и Бог его благословил. Яркое солнце – око небесное – засверкало над ними, поцеловало их своими лучами словно бы на прощание.

Червень произнес: «И все же мы должны расстаться, Мариенка. Храни нас Бог!» Однако у Мариенки еще кружится голова, еще не избавилась она от сказочного упоения. Червень сжал ей руку и направился к Мурану, и более слова между ними не прозвучало, поскольку она не знает, что надо говорить, а он задумался, Бог знает о чем. – Когда приблизились к Мурану, вышла им навстречу пани Торналли с панной Анной. Мариенка глаза поднятбоялась, а Червень, приблизившись, объяснил свое быстрое возвращение тем, что уходит, что пришел лишь проститься и поблагодарить пани Торналли.

Мариенка стояла словно окаменевшая и прислушивалась к тому, о чем говорит Червень с ее тетками; однако пани Торналли даже не смотрит на нее, она говорит: «Ступайте с Богом, сын мой! Храни вас бог. В Муран не ходите, мой муж сейчас занят, возвращайтесь в Липтов и не отходите от своего брата! С богом!»

Червень ушел. Мариенка заплакала, всплеснула ручками, и тетки только сейчас поняли, кто для Мариенки покинул их дома. Однако они на это не сердятся, так уж мир устроен, и говорит ей пани Торнелли: «Бедняжка, и я была рада ему, как собственному дитя – это хорошо, что он ушел; я не случайно отправила вас прочь из Мурана, ведь Торналли верен Заполы, и выполнит все, что тот ему прикажет. – Иди, дитя мое, утешься. Бог будет его охранять!»

XI

Под Криваном на Ховальде, высокогорном плато, лежащем выше Полудницы и Хоча, стоит большое, широко раскинувшееся земанское село Шовдово. Здесь живут родные братья, паны Шовдовцы *de eadem*. Не раз и липтовские, и спишские ломали голову, когда и кому могло прийти в голову осесть в этом холоде, в этой пустынной местности, где зачастую даже летом, когда другие укрываются от зноя, Мартин на своем коне приходит навестить панов Шовдовцев, или поляк, через вершины Карпат перевалив, к ним заскочит, загудит, дранку на домах чем выше, тем сильнее попереворачивает, а то и всю крышу унесет и поставит ее, как рейтара на коня, на дом другого пана брата. Однако шовдовцы были горды своим обиталищем. Отцы внушали своим сыновьям, а те – их внукам вплоть до сего времени, что они – старейшие граждане этих мест, поскольку, говорят, ни словаков, ни венгров в здешних местах не было, когда их предки, которые были не люди, но обры, пришли сюда из дальних краев и осели одни возле Парижовца, другие на Ховальде. Они знать не знали, что это были за обры, однако тут, несмоненно, имелись в виду древние готы, которые из-за Валенсы, римского императора, под предводительством Эдинриха (Атханариха) ушли в Татры. Когда кто-либо обращал их внимание на неурожайность их земли, они гордо отвечали: «Хм, а вы полагаете, что всегда так будет, как сейчас? – Когда наши предки сюда пришли, тут рос самый лучший красный виноград, так что когда все в мире вернется на круги своя, вы еще будете нам завидовать», – утверждали они, словно предчувствуя, что спустя несколько столетий наш липтовский поэт скажет:

*Kriváň aula Jovis, Kriváň trit alter Olympus,
saecula posta aliquot vinea Kriváň erit.*

Вот так шовдовцы тешились своим древним происхождением, своей силой и ожидали в полной уверенности, что свет назад повернется. О завтрашнем дне не заботились никогда. Молока и сыра достаточно, и кожи на сапоги и крпцы, и льна на полотно, и овса для коней, и ячменя для хлеба, где раздобыть все прочее, в чем нуждались, знали всегда. Старики и недозрелая молодежь обрабатывали летом поляны в горах и поля в окрестностях Шовдова и на Швонявах, которые им принадлежали, а зрелые юноши и мужчины, о домашней работе вовсе не помышляя, только и думали, откуда бы они что-либо для дома могли принести, и если где-либо меж ссорящимися господами возникала свара, тут шовдовские паны, словно суслики из норы, вылезали, приглядываясь, на чьей стороне больше счастья (так они называли грабежь и добычу) им улыбается. Они готовы были на все, никогда не спрашивали, кто прав, кто нет, но шли за тем, кто больше обещал, откуда надеялись побольше домой унести. За это и привечали их влиятельные господа, и приязненно им улыбались. Юный Шовда ни к косе, ни к плугу не прикиасался, словно это было недостойное для него занятие; но когда дело доходило до раздоров, до драки, до войны, никто не умел лучше тут и там поспевать, как «жердины из Шовдова», как называли их за внушительный рост.

Хорошо жилось шовдовцам, на войне они никогда не стыдились осмотреть у мертвых карманы, поискать перстней на пальцах, свои потертые ментики на красивую одежду поменять.

Когда же они вступали на земли неприятеля, то отлично знали, где надо искать жемчуг, серьги, золотые цепи, и как только добирались до дукатов, учтиво улыбаясь, кланялись их хозяевам и желали им доброго здоровья: «Позвольте, ваша милость, малую толику для моей жены...», – и, не ожидая ответа, брали столько, сколько им нравилось; если же где-нибудь в городе попадали они к купцам, то «жене на ментичек, детям на платки» отматывали сукна и полотна без меры. Они, конечно, утверждали, что никого, Боже упаси, ни жизни, ни собственности не лишили, однако даже бедные люди боялись их как чертей. Не раз наступали для шовдовцев добрые времена. Чаще всего вспоминают пана Талафиса из Ликавы и Аксамита, который в правление Искры владел Спишским замком. Да, были времена, которые уже не вернуться! Да, были господа, других таких во всем свете не сыскать; тогда Шовда что-то на свете значил! И по сей день видно, что имели основание так вздыхать, поскольку не раз в воскресенье встретишь бедного земана в узких штанах из домотканого сукна, который кичится потрепанной аксамитовой накидкой; увидишь и человека, у которого на нечесаной голове возвышается колпак из самой дорогой кожи. Здесь же ранним утром увидишь хозяйку, выгоняющую на пастбище корову, на голове у которой застиранный чепец, зато вокруг шеи – дорогие белоснежные жемчуга; здесь же встретишь девицу, что идет в поле с граблями обмотав вокруг плеч простое полотно, но на пальцах ее сверкают перстни, выдвоенные драгоценными камнями, а вокруг горла темнеют нанизанные на шнурки дукаты. И все эти ментики, эти колпаки, жемчуга, перстни, дукаты не выросли в Шовдове. Шовдовские паны именно за то и ненавидели Заполы, что в праключение короля Матиаша он вместе с братом сурово попотчевал тех панов, которых шовдовцы поддерживали, и хоть это дело прошлое, и Матиаша как короля они простили, но Заполы не могли забыть этого вовек. Кроме того, король Матиаш любил шовдовцев и их полную приключений, подвижную, на все готовую жизнь, и потому, когда кто-то из них что-то совершил, что было противно его личным приказам, он, придя в северные края, поставил виновника перед собой, и держал над ним суд, потешаясь над его простыми и блистательными ответами. А потом, когда ему в заключение сказал от всего сердца: «Ну, вам-то это не грозит, ваша милость пан король! Даже если бы вы в Шовдове жили, вы и тогда хуже нас не стали бы!», – Матиаш присудил ему в наказание либо два часа головой кивать, либо моргать глазами, либо свистеть для развлечения участников охоты, поскольку во время охоты он именно такого суда придерживался. А потом Матиаш попотчевал виновника, послал что-то в дар его жене и детям, и дал ему доброе поучение на будущее. И еще, желая использовать их силу, их мужество, их решительность, приказал он зачислить их юношей в Черный полк, где не один из них получил хороший чин, хотя даже служба в этом полку уже была большой честью. Так шовдовские паны с ним и помирились, поскольку у одного брат, у другого сын состоял в Черном полку, а третий сам в нем служил, покуда тот полк (1492) не распустили. Заполы мало обращал на них внимания, он ими скорее пренебрегал, словно только ждал случая использовать их силы в своих интересах. И верно, так оно и случилось. Триста земанских голов из Шовдова обрушилось на народное собрание словно на битву, и у них были отменные легкие, когда нужно было кричать, и длинные руки, когда была необходимость драться. А кроме того все они носили одну фамилию и всегда держались вместе. В своем селе, дома каждый имел свое собственное отличительное имя. Того звали Кокрхач, потому что словно петух куриц обхаживал он панов братьев, когда хотел перетянуть их на свою сторону; другого Зузкин Мишо, потому что жена его всегда спрашивала: «Мишо, неужели», – а он ей отвечал: «Зузкин», что сперва воспринималось с юмором, а потом, когда все привыкли, Мишо зачастую и с кислой миной вынужден был повторять «Зузкин». Третий звали Мамласа потому что так и не мог научиться ни косить, ни молотить; четвертого по имени жены звали Марчаком, потому что не он, а она была в доме хозяином. Того звали Долганом за его сухую, вытянутую вверх фигуру; другого Янко За Пять Пальцев, поскольку говаривал, что самый состоятельный человек на свете за пять пальцев купит все, что ему ни понравится, но все же никому не позволит прикоснуться.. А еще были Фалхай, Филипп Из Конопли, Чакан, Медведь, Праженица, Кабач, Крахулец и Бог знает какие еще встречались в шовдове имена, о которых каждый мог рассказать, почему тот или иной шовдовец так именуется.

И все же Шовдово было краем более-менее упорядоченным. Во главе стоял пан «дилехтор», самая светлая голова в селе, которого каждый год выбирали все взрослые шовдовцы и в обязанности которого входило решать повседневные дела и вершить суд, если вдруг случалась какая перебранка, или ущерб имуществу, или пани сестры свару заводили. Сечас таким «дилехтором» был пан Самуэль или, как его называли с юных лет, Само Чарбай, единственный на все село, кто умел читать и писать, поскольку когда-то воспитывался у ксендза, но был изгнан прочь, поскольку вместо того, чтобы читать молитвы, куда охотнее заглядывался на девушек. Теперь пан Самуэль Шовда был уже пожилым, строгим и честным человеком; с двадцати лет был он «дилехтором», и никто на селе, покуда он был жив, не осмелился бы даже пикнуть о выборе нового «дилехтора», что объяснялось еще и тем, что он знал немного и по латыни, словом был гордостью и солнцем всего села, так что когда шел он по улице, опираясь на длинную палку, матери к окнам своих детей подталкивали, чтобы посмотрели на пана Сасмуэля, который с самим остриховским архиепископом по латыни разговаривал. Сражаться в Шовдове умел каждый, но по латыни ни до того, ни после не знал никто.

Другой знаменитой личностью в Шовдове был пан Шимко Кокрхай, называемый также Куруцем и Кортесом, известный тем, что обычно водил шовдовцев как на войну, так и туда, где им «счастье улыбалось». Это был сорокалетний рослый мужчина; длинные черные усы и темные косматые брови придавали ему дерзкий вид, особенно когда он сдвигал брови, зха что и получил он прозвище Куруц .

Его знакомства с господами из северных столиц были обширны, и когда кому-нибудь из них требовалась помощь против своего соседа, он посылал к Шимко в Шовдово, и тот приводил ему, правда не даром, столько людей, сколько требовалось, за что и прозвали его Кортесом; когда же шовдовцы вступали с кем-нибудь в склоку, а тот хотел с упрямыми и мстительными шовдовцами расплатиться и восстановить мир, он обращался к Шимко, разумеется, не с пустыми руками, и Шимко так скакал вокруг панов братьев, так их обхаживал, так доходчиво объяснял им, что в конце концов они поддавались на его уговоры, за что и прозвали его Кокрхаем! Шимко Кокрхай, впрочем, всегда хорошо жил. Домик его в конце села был самым аккуратным в Шовдове, кони – самые красивые, что удивляло людей. Он же объяснял это так: «Смотрите, панове! Едва вам в руки хотя бы талер или дукат попадет, тотчас у вас в горле засвербит, и будет свербить до тех пор, покуда его не изживете; а я держу корчму, и не видал еще такого неучтливового посетителя, который не предложил бы мне выпить за его счет, вот и получается, что если я захочу, то всегда выпью за чужой счет, а свои денежки отложу». Каждый об этом знал и охотно последовал бы за Кокрхаем, но боялся рассердить его, поушением на чужие хлеба. Впрочем, Кукрхай держал корчму и по другим причинам. К нему в корчму кто угодно мог войти, не привлекая внимания, а это позволяло как с приятелями, так и с неприятелями распускать слухи, которых иной стыдился бы, а Кокрхаю это приносило выгоду.

Сейчас Шовдово было полно жизни. Пан «дилехтор» созвал панов братьев и объявил им со всей полагающейся торжественностью, что пан Корвин, князь Липтовский, постановил идти на помощь к полякам против общего неприятеля – турок, и потому надлежит им чистить оружие, скребсти коней и быть готовыми через три дня выступить в поход, уже завтра пан князь должен подойти с частью войска, и пока оно до Спиша доберется, желает он позабавиться с шовдовцами охотой. Паны братья тотчас оживились, поскольку все ранее добытое подошло к концу, а тут речь зашла о войне; однако им не понравилось, что идти придется аж в Польшу, куда с большим удовольствием они пошли бы против Заполы, зная, что дворы и дома его приверженцев были бы потом для них щедрым вознаграждением. А сверх того пан «дилехтор» отдал приказ под страхом смерти ни к чему не прикасаться ни в спишских городах, ни в Польше, за исключением турецкого лагеря, который, как полагали шовдовцы, был у них в руках. Кокрхай отдавал приказы как подлинный предводитель славной фамилии Шовда de eadem в военных походах.

Словом, как бы там ни было, а шовдовцы готовились. В корчму к Кокрхаю наведывались как никогда за последние восемь лет, со времени последнего похода на поляков. Каждому хотелось пропустить рюмочку, каждый устраивал такие проделки, каких в иное время ради мира в семе

никогда не допустил бы; корчма была полна, и хотя никому даже в голову не приходило платить, Кокрхай не обращал на это внимания, полагая, что покуда стаканы кружатся, он своего не упустит. Меж тем входят в дом Кокрхая два прилично одетых человека, по виду – прирожденный земаны, поскольку и усы у них лихо закручены, и ментики дорогой кожей отделаны, а на сапогах тренькают серебряные шпоры. Едва они вошли, все общество притихло, каждый смотрит на пришельцев, каждый их взглядом оценивает и прикидывает, кто бы это мог быть. А вошедшие на них даже не оглянулись, сели к столу, словно бы в комнате никого и не было, разложили свои вещи по лавкам и разговаривают меж собой.

У шовдовцев это в голове не укладывалось, смотрели они друг на друга, желая узнать, что такие эти пришельцы, пошли кучера спросить, кто его господа, куда идут и откуда пришли. Однако тот только головой мотает и ни слова в ответ. Должно быть немец, коль скоро шовдовцев не понимает.

Пришельцы сидят за столом, заказывают себе вина и разговаривают меж собой; шовдовцы шепчут друг другу на ухо, потом говорят громче, и в конце концов приближаются к пришельцам вплотную, но при этом, как и до их прихода, пьют свое вино и не обращают на чужаков внимания. А те на них и не глядят.

Тут Мишо Талхай схватил вместо своего пустого полный стакан чужака и прильнул к нему с такой пылкостью, с какой вряд ли прижимал к груди свою возлюбленную.

Чужак берет его за руку и говорит: «Эй, Мишо, это мой стакан!»

«Ваш стакан?» – переспрашивает Талхай, словно он этого не заметил. – «Ну, ничего не поделаешь, ваша милость, налейте еще один и выпьем его за ваше здоровье!»

«Нет, нет, усатый попрошайка!» – ответил пришелец.

«Вы бы, как вижу, с удовольствием целый бочонок к губам приложили и уж не опустили бы его, покуда он не зазвенит!»

«Что, ваша милость? Полагаете, что я пить не умею?» – ответил Мишо Талхай. – «Похоже, вы думаете, что я не смогу двухобручевую бочку над готовой поднять и из нее напиться?»

«А вы попробуйте, пан брат, попробуйте!»

«Эй, Кокрхай! – закричал он корчмарю. – Тут сударь распорядился бочку вина выкатить – прямо на середину комнаты! – А ну, шевелись!»

Чужаки глянули друг на друга, словно спрашивая один другого, а потом первый из них, желая выяснить намерения Талхая, произнес:

«Что вы говорите, пан Шовда Талхай? Неужели я просил выкатить бочку вина?»

«А разве нет?» – спросил Талхай. – «Неужели нет, паны братья? Вы свидетели», – обратился он ко всем присутствовавшим, продолжая свою речь: – «Разве этот посторонний человек не говорил, чтобы выкатили бочку вина, чтобы я ее на руках поднял и из нее напился?»

«Так оно и было, так и было!» – закричали вокруг.

«Ну, хорошо, пан Талхай», – ответил с улыбкой тот из пришельцев, что говорил с ним прежде, – «Но мы заплатим за нее только в том случае, если вы выпьете за здоровье того, кого мы вам назовем, будь это хоть сам Заполы».

«Выпьем за его здоровье, будь он хоть чертом», – произнес пан Шовда Медведь, – «и без того уже у бедного земана от жажды волосы седеют, а наши сабли словно дурни от сухости в ножнах ржавеют».

«Думаю, что и ваши глотки», – заметил второй чужак.

«О чем говорить», – ответил Медведь. – «Как же сабле не ржаветь, если хозяин ее из ножен не вытягивает? А как он может ее из ножен вынимать, если у него ни единая жилка в теле не играет? Да и с чего бы она играла, если из года в год он должен ложиться и вставать трезвым, как дурак?»

«Ну, теперь-то, я думаю, вы уже наверстываете, поскольку кое-что получили вперед за помощь, которую идете оказывать полякам?» – заметил пришелец.

«Ничерта не дали!»

«То есть вам ничего не дали, а вы ни за что ни про что идете воевать? Ну, стало быть, свое возьмете. Когда придете в Спиш, уж вы-то всыпете перца этим немцам! Я так думаю, что им и кожи на теле не хватит. – с улыбкой продолжал пришелец, намекая на тринадцать спишских местечек, которые при короле Жизмунде были заложены полякам и до сих пор принадлежали Польше.

«Ничерта им не насыпешь», – отозвался Медведь. – Вы только подумайте, ваша милость, пан брат, под страхом смерти нам грабить запрещено, во всяком случае так Чарбай говорит, за исключением турецкого лагеря».

«Ну, так придется подождать, когда доберетесь до турецкого лагеря», – снова язвительно говорил чужак. – «Да вы, как вижу, и до границы не дойдете. Вот если бы держались пана Заполы, он дал бы вам столько вина, что впору было бы в нем утопиться, и столько денег каждому, что и ваши жены, и ваши дети полгода нужды не знали бы, покуда вы не вернетесь».

«Так одарил бы нас пан Заполы?» – с удивлением произнес пан Кабач.

«Да, как человек состоятельный, уж он бы вас не обидел! А сверх того еще и грабеж за пределами страны – уже в Спише, поскольку спишские города не наши, а оттуда вы могли бы все домой отослать!»

«Это было бы неплохо для моей грешной души», – взял слово пан Чакан из Шовдова, – «Вот это человек, и сам хорош, и лучше понимает эту любовь к власти, эти законы, и эту справедливость».

«Законы? Хм», – произнес пришелец. – «При чем тут законы? Что толку быть земаном, если даже на войне нельзя делать то, что вам нравится? А разве Заполы нарушает законы? И разве любому земану из тех, что за ним следуют, не лучше чем вам? Неужели Заполы допустил бы, чтобы бедный земан, как этот несчастный пан Шовда Талхай, от стакана чужого вина так ослеп, что не смог различить свой пустой стакан от чужого полного?»

«Неужели и впрямь пан Заполы такой добрый господин?» – спрашивает растроганный Талхай.

«Может, и такой», – отозвался Шовда Фузон, крупный мужчина с длинными усами, за которые получил свое прозвище, – «но Швонявы у нас отобрал».

«Швонявы», – отозвался пришелец, – «разве вы знаете, что с вашими Швонявами? На первый взгляд, так оно и есть, но если вы, люди мудрые, меня выслушаете, то несомненно признаете мою правоту. Пан Заполы почитает и уважает вашу фамилию гораздо более других, ах, сколько раз он плакал об этом кровавыми слезами, сколько ночей не спал, думая о вас, и не раз говорил с печалью: «Ах, если бы только любезные шовдовцы были со мной, я мог бы целый свет победить, ведь это триста земанов, краисвых как девицы, высоких как пихты, надежных как дубы, которые всегда дератся сообща!» Вот как Заполы о вас говорит, а вы, неблагодарные, что делаете? Вы сердитесь на него, а он, несчастный, как ни пытается, ничем не может вам угодить. Но тогда, любезные мои паны братья, если уж вы ему такие неприятели, он просто должен был отнять у вас Швонявы, чтобы вам нечего было ни есть, ни пить, чтобы вы обеднели, утратили силу, ибо он знает, что такая славная фамилия как вы могла бы сильно помочь ему, но в то же время может и здорово навредить. Когда вас кусает комар или пчела, вы ей выдергиваете жало, или пес вас укусит, вы ему зубы выбьете, разве не так? Вот Заполы и отнял у вас Швонявы, чтобы вы ему навредить не могли. А держались бы его, не было бы нужды судиться с ним без пользы, как сейчас, тогда и Швонявы уже сегодня были бы ваши, и сколько других таких сел получили бы! А он следил бы за тем, чтобы вы богатели, чтобы всегда были с богатой добычей, чтобы ваша славная фамилия процеватал во веки веков, аминь!»

«Вот это, пожалуй, правда!» – закричал один.

«Верно, так оно и есть!» – зашумели другие.

«А если вы все так считаете, то почему не идете туда, где вам счастье улыбается, потому держитесь с теми, кто вам даже сала и капусты дать не в состоянии?»

Меж тем распахнулась дверь, и бочка вина выкатилась на середину комнаты. Шовдовцы стрелой подскочили к бочке и, пожалуй, к давно невиданному приятелю так не прижимались, как льнули к ней, при этом по глазам было видно, что каждый хотел как можно скорее познакомиться со своей глоткой с ее содержимым, ни мало не смущаясь тем, что вино-то заполовское. Кокрхай вставил в бочку трубку, и та не переставала цедить, так что Зюзкин Мишо дал знать о происходящем своим домашним, и пани сестры по одной приходили с кувшинами, а дети с корчагами, чтобы еще и домой дармового вина унести. Но тот из пришельцев, что должен был платить за вино, весело наблюдая за усердием шовдовцев, заметил это: «Эй, паны братья, что же это за манеры? Вы пьете как бочки, а вашим женам, пани сестры, хочу сказать, чтобы даже не думали, поскольку вы еще не выпили, согласно обещанию, за здоровье пана Заполы».

«Тогда, храни его Бог!» – закричали некоторые.

«И вас с ним», – ответил приезжий, снял шляпу и учтиво поклонился, поскольку знал, что паны братья очень любят, когда кто-либо, как они говорят, выказывает им почтение, а потом продолжил: – «И пусть ваша дружба с Заполы так расцветает, как утренняя заря на небе, пусть ваши сабли так танцуют по головам неприятелей, как ваши косы по татранской траве, и пусть исполнятся все ваши желания, чтобы Швонявы вам вернули, чтобы добыча была ткой, что даже ваши потомки об этом вспоминали, чтобы ваши глотки долго могли выкрикивать: «Виват Заполы! Долой Корвинов!»

«Виват Заполы!» – закричали паны братья шовдовцы.

Тут вскочил Шовда Медведь с бородой лохматой, руками замахал, лоб нахмурен словно туча грозовая, глаза сверкают словно молнии, а голос словно гром гремит: «Как же это так, паны братья? Что ж вы за людишки? Когда это было, чтобы шовдовцы, дав слово Корвину, кричали «Виват!» Заполы? Уж если вам не нравится держать сторону Корвина, ступайте к директору и ему, а не в корчме, о своем желании заявите. Или вы настолько заполовским вином налитесь, что уже не можете у дилехтора заплатить, заплатит ли вам Корвин? А если вам добычи захотелось, то разве дилехтор и Корвин вам ее предоставить не могут? – Неужели вы решитесь походя новые порядки в нашем роду устанавливать, чтобы мир о нас сказал, что нет других таких никчемных людишек, что за один день трех господ меняют? Для чего же тогда существует дилехтор? Словом, молчите с Заполы, пока совет не состоялся, поскольку это не только вас, но и всей фамилии касается. Меня не волнует если дилехтор ответит вам, что Корвин грабежей не допустит, что ничего не даст на сборы – венгерский земан по призыву короля только в своей земле даром воевать обязан; мне безразлично дома вы останетесь или помиритесь с Заполы – это как вам будет угодно, но прежде вы обязаны через дилехтора сообщить Корвину, что более его сторону держать не желаете.

Шовда Медведь даже запыхался, настолько усердно он произносил свою речь, из которой паны братья поняли, что его не волнует, каким способом он добудет для дома немного поживы, но не желает, чтобы при этом была опозорена его фамилия. Слова фамилия, честь или позор всегда делали шовдовцев послушными как ягнята; однако сегодня вино уже ударило в головы и потому решили, что, не выходя отсюда, к Заполы переметнутся, ибо хорошо известно, что сегодня всем земанским родам, которые стоят на стороне заполы, гораздо лучше живется, чем им с некоторых пор. И потому все единодушно воскликнули:

«К дилехтору! К дилехтору!»

Пан Самуэль Шовда, с двадцати лет «дилехтор» славной фамилии Шовда de eadem, жил в центре села, где улица с обеих сторон чуть расширялась, и посередине этого свободного пространства стояла звонница, т.е. две толстых, вбитых в землю рогатины, на которых висел колокол, настолько большой, что понадобилось бы три-четыре воловьих колокола слить вместе, в этот колокол для славной фамилии звонили в полдень, вечером и утром. Возле звонницы не видно ни щепки, как это бывает в селах не земанских. Напротив звонницы стоит старый деревянный дом, который окружает открытая галерея; деревянные ворота ведут во двор и скрипят каждый раз, как ветру вздумается на них подуть, словно напоминая о недолговечности бытия, о пустоте

дома и старости его хозяина, который, не имея наследника, не заботился о его поддержании. В доме было две комнаты, первая, называемая палатой, была широкой, просторной и обыкновенно служила для собраний славной фамилии, по случаю которых пан Самуэль садился на дедовский ременный, желтыми гвоздиками обитый стул и с него, подобно королю в государственном совете, произносил свои мудрые речи к членам достославного рода. Сегодня эта комната приведена в порядок, вытерта пыль, старинный стул и кровать, что осталась еще после ее милости покойной матушки пана Самуэля, прибраны. Уже на следующий день пану Самуэлю выпадала честь приветствовать в этом доме Корвина. Все это произошло так внезапно, что к военному походу никто никаких приготовлений не делал, и в то время как у соседей забивали волов и собирали вино для гостей, хлеб пекли во всем селе, у пана Самуэля было тихо как в гробу. Веревка с колокола снята, створки ворот дома «дилехтора» затворены, окна закрыты.

Вдруг послышались шум и крики. Паны братья устремились от Кокрхая к безжизненному «дилехторскому» дому. Хотят звонить, чтобы и отсутствующие узнали о сходке, но у колокола нет языка, хотят войти во двор, но ворота заперты, хотят в окна посмотреть, но ставни захлопнуты. Шовдовцы этим немало удивлены, ибо такого еще не случалось, чтобы «дилехторов» дом затворенным стоял, поскольку этому дому была гарантирована безопасность, и если бы кто-нибудь все село обокрал, «дилехторов» дом, как некая святыня, и тогда остался бы нетронутым. Однако первое удивление скоро прошло; младшие из славной фамилии стали кричать: «Отворите, отворите!» Коль скоро это не помогло, стали стучать в ворота, да так, что они зашатались, и камнями в колокол кидали, да так, что он от боли аж завывал. На шум сбежались люди, в первую очередь из ближайших домов, где готовились к приему гостей и содержанию следующих в Польшу инсургентов. Вместе с другими выбежала и старая Катрена, девица и единственная попечительница пана Самуэля, видя что творится, она вклинилась между штурмующими и глуховатым, но сильным голосом закричала: «Люди, уймись! Что вы делаете! Пану дилехтору нужна тишина!»

«Прочь, старуха, прочь!» – закричал один из панов братьев, – «лучше ворота открой, да помолчи».

«Чтобы я ворота отворила? Я?» – отвечала старая. – «Пан дилехтор сказал мне: «Ступай, Катрена, из дома, ворота затвори, веревку с колокола сними, чтобы ни звука не было, поскольку я должен выучить речь, которой буду встречать князя, а эта речь написана такой латынью, какой князь даже от Бонфини не слыхивал». – И после этого я должна вам дверь открывать?»

Дальнейшее препирательство прервал пан Самуэль, который отворил окно, посмотрел вокруг и, словно ни в чем не бывало, спросил: «Чего желаете, паны братья?»

Все присутствующие умолкли, никто не проронил ни слова.

«Чего желаете, паны братья?» – снова спросил «дилехтор».

«Хотели бы сессию созвать, ваша милость пан дилехтор!» – произнес Шовда Медведь. – «А то ведь до сих пор не знаем, за что коней подковать, за что себе шпоры купить, за что...»

«Разумеется», – решительно прервал его речь Самуэль, – «за деньги!»

«А если их нет», – отозвался кто-то.

«Да», – перебил его Самуэль, – «Ничего не поделаешь, венгерский земан обязан воевать бесплатно, поскольку он земан, и не спрашивать, откуда взять то, откуда это!»

«Эй, пан дилехтор, ваша милость», – выкрикнул Крахулец, – «ваша правда! Мы такие же земаны, как все прочие, и должны поступать так же, как все; но на этот раз мы выступаем за пределы страны, и уже не обязаны идти без содержания, а раз так, пан дилехтор, ваша милость, мы и шагу ступить не можем, если наперед не знаем, что получим, и на что можем рассчитывать в чужой стране!»

«Вы не можете ступить ни шагу?» – отозвался раздраженно пан Самуэль. – «И это те самые шовдовцы, о которых говорят, что заполучат все, что им понравится?»

«Но нам не нравится», – прервал его речь Крахулец, – «что мы не знаем, сколько получим, а если ничего не должны получить, то неизвестно, что и где могли бы добыть, как это обычно на войне бывает».

«Ах вы пиявки! Ну, вы и мрезавцы, хоть и земаны, вам мой запрет грабить не нравится? Вот это понятно! Вам и за самую малую услугу нужна плата? Эх вы, заблудшие, недальновидные, бессовестные пиявицы, стыдитесь, стыдитесь!»

«Хм, чего мы должны стыдиться», – произнес из дальней комнаты пан Шовда Мацко, – «если не стыдимся каждый день заботиться о пропитании, коль скоро наши поля нам его не дают?»

«Умно сказал, Мацко!» – слышались голоса. – «Уж сколько времени до Шовдова даже гроша не доходит, и если бы у наших жен и детей не висели на шее дукаты, давно б уже белые кости славной семьи Шовдова по Ховальду сохли!»

«Да, давно бы нам следовало с паном Заполы объединиться!» – выкрикнул кто-то.

*«Вот Заполы – добрый пан,
Дал вина и хлеба нам! »*

Самуэль более не мог сносить все это. Кровью налилось его помрачневшее лицо, яростью пылал его взгляд, в котором отражались и злость, и гнев и позор. Дрожащим от злости голосом он закричал: «Убирайтесь, дьяволы!» – вскинул руку и пальцем указал им дорогу. – «Чтобы вас, негодяев, тысяча чертей разрывала на части! У вас, негодяев, сегодня одно, завтра другое! Но вы скорее шею сломаете, чем десять шагов сделаете!» А потом, возвысив голос, и говорит: «Ну, так ступайте к вашему Заполы, скройтесь с глаз моих, идите к нему, и никому не говорите, что отцов ваших шовдовцами называли!» Тут он назад отошел, хлопнул окном так, что дом затрясся, и не показался более.

XII

Новое солнце взошло над Шовдовом, и с новым утром новые мысли закружились в людских головах, новые замыслы в сердцах родились, и новые картины, явившиеся взгляду, затмевают события вчерашнего дня, так что мало кто вспоминает о том, что было вчера.

После того, как «дилехтор» сказал шовдовцам, чтобы они шли к Заполы, и лишь потому, что он сказал это, шовдовцы притихли, разошлись по домам и более не смели, хотя их так и подмывало, промолвить хоть слово, которое могло бы его разгневать. К тому же Заполы был далеко, а пан Корвин, липтовский князь, появился в Шовдове. Все тотчас забыли о вчерашнем, и валом валили посмотреть на князя, познакомиться с прибывшими, посмотреть на красивое снаряжение инсургентов, направлявшихся именем его величества короля в Польшу против турок, а сверх того было и дома чем заняться, готовясь в дорогу, поскольку теперь и Шовдово должно было присоединиться к экспедиции.

Пока корвиновское войско изготовится и войдет в Спиш – уже на польские земли, т.е. в спишские города, которые король Зигмунд, нуждаясь в деньгах на войну с Бенатчаном, в 1412 году заложил польскому королю Ягайло за 155 400 дукатов, – пан князь решил устроить в Татрах охоту, чтобы сойтись здесь с паном Заячком, воеводой польских городов в Спише, и держать совет о дальнейших действиях и экспедициях. Именно поэтому число участников охоты было невелико.

Господа встретились, никто не мешал беседам князя и Заячека, покуда они не расстались, ибо у каждого, и в особенности у последнего было много забот и хлопот.

И только после этого началась настоящая охота, только после этого господа затрубили в трубы, спустили гончих, поднялся лай и визг. Все это сопровождалось шумом, весельем. Пан князь, следуя примеру других охотников, углубился в горы и, после многочисленных хлопот, которые ему пришлось пережить во время организации экспедиции, наслаждаясь воздухом свободы, всецело предался развлечению, которое так любил его отец. Однако его хорошее настроение длилось недолго. Буквально на границе между Спишем и Липтовом прозвучали из чащи два выстрела, и пули просвистели рядом с головой князя.

Князь замер, осмотрелся и, убедившись, что это было покушение на его жизнь, затрубил, закричал, и, сообразив, что находится в одиночестве, пустился назад к Шовдово. Не прошел он и нескольких шагов, как сбежались господа и, узнав о случившемся, сильно встревожились. Сперва хотели пуститься в ту сторону, откуда прозвучали выстрелы, затем решили выяснить, кто бы это мог быть, поскольку сделал это явно не сторонник, а кто тот неприятель, неведомо. В первую очередь подумали на сторонников Заполы, но откуда бы им взяться здесь, где буквало кишело от корвиновских войск, этого никто объяснить не мог. В конце концов паны братья стали выяснять, не заметил ли кто посторонних людей. Далекое не первым вышел Коркхай и говорит:

«Паны братья, я не знаю, кто из чужих мог бы оказаться среди нас, кроме, пожалуй, пана Червеня, который не в рядах славного земаинства, с паном князем на войну собирающегося, но сам по себе, как охотник, у меня переночевал».

Паны братья отнеслись к этим словам с недоверием, но в глазах князя сверкнул блеск, который ясно говорил о том, что ему этот вопрос кажется вполне прояснившимся. После затянувшегося молчания один из охотников сказал:

«Быть этого не может, это противоестественно, а пан Червень всегда был честным человеком и украшением корвиновского рода».

Однако князь, горько улыбаясь, сказал: «Особенно тогда, пан брат, когда выступил охранником дочери Заполы, и был готов из-за нее бить людей, преданных Корвину!»

«Пан князь», – ответил пан Ошко, – «это касалось нас, но чтобы он мог против собственной крови выступить, это невозможно».

«Ни слова!» – закричал князь. – «Кто способен на одно, способен и на другое, а поэтому, если увидите Червеня, схватите его и обезвредьте! – А сейчас вернемся к охоте, господа, довольно!»

В это время появился старый Панкрац и, узнав, что тут происходит, встал напротив князя и произнес: «Пан князь, я прибыл, чтобы передать вам добрые советы от Червеня, а вы приговариваете его к смерти!»

«Мне от него? – Поговорим об этом позже, а сейчас, старик, молчи, мы в походе и здесь я, ваш предводитель, приказываю, хотя в мирное время готов выслушать любой совет», – высокомерно произнес эти слова, князь уходит, даже не глянув на Панкраца.

А почтенный старец остался стоять, он рвет на голове волосы и полным отчаяния голосом кричит: «Когда ты приходишь, чтобы поведать, что Заполы поджидает его на дороге, что готовится его уничтожить, что собирается опустошить наши дома и села, когда нас не будет дома, когда приходишь сказать, какие измены куются меж его собственными людьми, он осуждает тебя на смерть!»

Впрочем, гнев князя никогда не длился долго; вот и сейчас он не долго размышлял над тем, что взволновало его сердце, полагая, как обычно, что лучше что-либо делать, чем погружаться в глубокую задумчивость. Рядом с ним стоят его слуги, а с ними шовдовцы, которые на правах хозяев не хотят покидать поле сегодняшней забавы прежде, чем его покинут чужие, особенно усердствует Кокрхай. На него-то в первую очередь и обрушился грозный взгляд Панкраца. Вне себя от гнева, Панкрац схватил его за горло: «Не ты ли разжег ненависть между братьями?»

«Что вы делаете, ваша милость?» – закричал Кокрхай. – «Я не отвечаю за то, что Червень пришел ко мне на ночлег».

«Постой, проклятый предатель, постой. Не ты ли позвал в свой дом заповцев, а те дали тебе совет, и уж тебе-то хорошо известно, кто стрелял. – Мишо, хватай его!»

Мишо, слуга Панкраца, бросился, но два шовдовца преградили ему дорогу; один закричал: «Что же вы делаете, ваша милость, ведь это Шовда, земан, приказать схватить его, все равно что уничтожить наши права и притеснять людей, которым каждый должен оказывать почтение».

«Он черт, а не земан», – ответил Панкрац, – «купленный Заполы предатель, а не земан, а вы, если честные люди, в сторону! – Мишо, Ян!», – крикнул он своим людям, – «Хватайте его!»

Слуги приступили к делу, шовдовцы ругались, а Кокрхай задвигал плечами, замахал руками – никто к нему не может подступиться; и все же в конце концов численное превосходство взяло верх. Два шовдовца отлетели в сторону; слуга Панкраца вскочил Кокрхаю за спину, схватил его за ворот, потянул его вниз, а там и остальные на него навалились.

«Влепи ему двадцать четыре!» – закричал Панкрац.

Шовдовцы словно львы, желая освободить Кокрхю, навалились на слуг, ибо совершить то, что приказал пан Панкрац, было бы самым большим оскорблением для земана, и беда тому роду, чьи сыновья подверглись такой экзекуции, поскольку это на многие годы выставляло их на посмешище.

Кокрхай напряг спину, чтобы больше силы придать плечам, и извивался как змея, желая скорее умереть, чем позволить, чтобы ему влепили двадцать четыре удара. Однако слуги Панкраца были ловкими людьми. Кокрхаю не удавалось освободиться, а шовдовцы ничем не

могли ему помочь. Один из них направил ружье и хотел выстрелить в свору слуг, державших Кокрхая, но Панкрац подскочил и вырвал у него из рук ружье, словно бы это был прутик.

Слуги вlepили Кокрхая двадцать четыре удара, столичную порцию. Панкрац, не глядя на него, отошел. А Кокрхай проворчал в усы: «Премного благодарен вам, пан Панкрац, – хорошо послужил вы Корвину, хорошо...»

XIII

Пан князь остановился в Шовдове и намерен здесь переночевать. В доме пана Самуэля, который горд столь высоким визитом, он окружен сторонниками. Панкрац сегодня не очень-то разговорчив. Покров забот и печали окутал его душу. Корвин запретил даже упоминать о Червене или сегодняшнем происшествии на охоте. Это лишало Панкраца возможности прояснить ситуацию, которая возникла буквально на пустом месте, но не была пустяшной. Зашла речь о выступлении. Пан князь сказал, что отправил своих людей вперед, а с отсальными двинется через день, чтобы дать возможность такому количеству людей собраться и подготовиться. С улыбкой обращаясь к «дилехтору» шовдовцев как к хозяину, он сказал: «Ваш славный род известен мне верным сердцем и надежным плечом, и потому моими проводниками будут паны братья из Шовдова!»

Самуэль поклонился и поблагодарил за честь, которую князь оказал его роду.

Панкрац вскочил со своего места, холодный пот сверкал на его лбу. Он встал перед князем, нахмурил брови и, не желая скрывать свой гнев за сладким выражением лица, а гневные мысли одевать в красивые слова, произнес:

«Пан князь, не смейте этого делать!»

Все присутствующие этому удивились.

Князь хранил спокойствие, важность, поскольку не привык колебаться после того, как принял решение, и потому вполне буднично произнес:

«Но почему, пан Панкрац?»

«Потому», – ответил тот, – «что вы не дойдете до Спиша и будете каяться».

«Но почему?»

«Шовдовцы подкуплены!»

Все присутствующие замерли, не зная, верить ли человеку, который никогда не притворялся и никогда не говорил неправды, или же следует приписать эти слова его излишнему усердию; Шовда Самуэль нахмурился, глянул удивленно на Панкраца и хотел высказаться в защиту своего рода, поскольку все, что касалось шовдовцев, в первую очередь касалось и его как «дилехтора». Однако князь приказал сохранять тишину, и он молчал, однако молнии в глазах выдавали его гнев и горечь. Корвин тем временем тихо спросил: «И откуда вам это известно, пан Панкрац?»

«От того», – последовал ответ, – «чье имя вы спокойно слышать не можете!»

«Вот оно что?» – грустно промолвил князь. – «Теперь мы знаем, от кого это исходит, и все же говорим вам, друг мой, что если хотите быть чем-нибудь полезным Корвину, вместо того, чтобы подавать пример непослушания в военной экспедиции, точно следуйте приказаниям предводителя и не говорите о предметах, о которых тот запретил даже упоминать».

«Что ж, пан князь», – взволнованно произнес Панкрац. – «Тогда ваш отец, очевидно, был обыкновенным человеком, а не военачальником, коль скоро он даже в кровавых битвах прислушивался к советам своих друзей; и, Богом клянусь, это не раз его выручало».

Князь принял вид решительного военачальника, не подвластного ни приступам чрезмерной заботливости сторонников, ни страху перед неприятелем. Он посмотрел на панкраца

дружественным, но непреклонным взглядом, которым дал ясно понять, что князя нельзя смутить упоминаниями о его отце.

Однако Панкрац, которому в иных обстоятельствах неприязненного взгляда было достаточно для того, чтобы он остановился или сбился с намеченной цели, сегодня, видя что князь к его словам абсолютно равнодушен, не отступил от своего, остался стоять рядом и все с той же заботливостью продолжал:

«Послушайте, ваша милость, пан князь! Панкрац не отойдет от вас ни на шаг, несмотря на то, что вы упрямо затыкаете уши, он словно змея обовьется вокруг вас и будет даже новью следить за вашими людьми, которым вы верите, на которых вы полагаетесь, ибо так пожелал тот, кто дорог Панкрацу, как зеница ока, чье имя вы не желаете слышать, тот, кто сумел сломить негибавшую душу старого Панкраца, одолеть его упрямство, сделать его ребенком, который не отстраняется от вас даже тогда, когда вы им пренебрегаете, и этот человек – ваш брат Ян Червень!»

Присутствующие посмотрели друг на друга, ожидая решительной отповеди князя в ответ на выпад Панкраца; но князь, как ни в чем не бывало, поднялся и сказал: «Господа, уже время, трогаемся! С Богом, пан директор!» И, подав руку старому Самуэлю, он ушел.

Перед домо директора стояли в строю шовдовские паны. Триста бойцов, частью конных, частью пеших, предстало перед глазами князя и его спутников. Мужчина опирается о плечо мужчины, конь стоит возле коня, стена да и только; шовдовцы стоят красиво, ровно, по-военному, и именно поэтому не бросается в глаза их различная одежда, их разноцветные наряды, разнообразие их оружия и экипировки. У князя глаза засверкали, когда он увидел это скопище мускулистых, отважных мужчин. Однако шовдовцы не прокричали, как это обычно делают инсургенты при виде своего вождя, приветствия Корвину, глаза их сверкнули, а незначительный наклон головы свидетельствовал, что хотели они посмотреть друг на друга и сообщить соседу свое мнение.

Князю тишина понравилась, он принял ее за воинскую выучку. Панкрац ехал на коне в свите князя, и взгляд его омрачился при виде многочисленности и молчаливости шовдовцев. Он глубоко вздыхал и обводил ястребиным взглядом ряды отряда, всюду замечая насупленные лица. Пан князь вытянул саблю и кивнул предводителю шовдовцев Симко Кокрхаю. Тот словно шальной носился на коне, важно восседал на нем, словно подчеркивая свою важность и значительность, отдавал приказы, демонстрируя навыки своих подчиненных во всяческих воинских упражнениях; однако когда приближался к князю, неизменно спокойному, обращался к нему и давал краткие ответы, щеки его багровели словно ядра, и только когда взгляд его падал на Панкраца, вырывался из него огонь ненависти отчаянной решимости. Пан князь приказывает трубить выступление, еще раз подает руку старому директору, дрожащему и благословляющему экспедицию князя, кланяется старикам, женщинам и детям, собравшимся дать родственникам последнее благословение.

Так выглядело войско Корвина. Шовдовцы составляли сейчас его эскорт, поскольку прибывший из Липтова отряд выступили днем ранее. Второй отряд шел на Ораву, а третий – через Тренчин в Силезию. Все три отряда должны были соединиться в Польше, поскольку турки хозяйничали на Буковине и в пограничных областях Польши.

Корвин перешел границу Липтова, и взгляду его открылась Спишская столица, урожайная, плодородная, а спишские местечки, ныне относящиеся к Польше, белеют среди гор и равнин словно сугробы над освобожденными от снега полями. Там Велка, там Собеда, там Стража, а там Поград.

Взгляды Корвина и его дружины величественно скользил по этим красивым местам и по вершинам Татр, словно стражники расставленным над этими долинами. Старый Панкрац молча смотрит на Корвина, его не трогают ни величавость карпатских гор, ни великолепие пейзажа, он присматривается к проводникам князя, к воинам их сопровождающим, и то и дело на глаза ему попадаются шовдовцы, которыми окружен князь, их темные, устремленные на него косые взгляды, с гордым пренебрежением он отворачивается от них, но не спускает с них глаз и замечает

каждое их движение. И действительно, он кое-что заметил. Шовда Шимко, начальствующий над шовдовцами, забывая о том, что Панкрац с ним рядом, раз за разом устремляет взгляд свой на Попрад.

Старый Панкрац поднимается на стременах и следует за взглядом Кокрхая.

Он видит, как от Попрада приближается толпа людей, следующих прямо навстречу корвиновцам, в то время как вторая толпа продвигается к Велкей. Глаза у Панкраца хоть и старые, но быстрые, а взгляд их сегодня настолько остер, что видит он гораздо лучше молодого человека с глазами по-юношески острыми.

Заметив это новое явление, он смотрит на сопровождающих князя, и видит лица, омраченные заботой и каким-то замешательством. Сердце почтенного старца заколотилось, а брови нахмурились, словно увидел он перед собой воплощение злой воли.

Он устремился к князю и говорит: «Пан князь, пан князь, гляньте на Попрад, что это там за народ? Разве вы ожидаете оттуда подкрепление?»

Князь привстал в стременах и посмотрел в ту сторону, на которую было обращено внимание: «Это, наверное, польские войска, которые должны к нам присоединиться!» – сказал он.

«Пан князь, пан князь, но у поляков здесь нет другого войска, кроме спишских горожан, а у тех нет коней, они не отправляются в походы на конях, и не пересекают границы!»

«В таком случае, кто же этот приближающийся друг?» – спросил князь.

«Заполы! Заполы!»

«Кто вам это сказал?»

«Хм, не имею права открыть вам это. – Да, Заполы,.. да Корвин...», – ворчал в седые усы Панкрац, в то время как князь нахмурился и отвернулся. У старого Панкраца кровь закипает в жилах при одной только мысли сыграть для Заполы плясовую, а грудь его теснится от того, что вынужден молчать как рыба перед «мальчишкой неразумным», как мысленно называл он Корвина.

Корвин осмотрелся, и его лицо исполнилось гордости, поскольку он был убежден в своей силе, и верил, что горстка приближающихся, даже если это был сам Заполы, его не одолеет. И потому он обратился к Панкрацу:

«И вы знали, что Заполы нас встретит?»

«Хотел предупредить вас, но вы не позволили, пан князь; а теперь посмотрите, кто возле вас, и в чьих мы руках. Выслушайте, пан князь! Червень пришел в Шовдово, чтобы рассказать мне о том, что Заполы собрал возле себя земанство из Спиша, Чемера и других столиц, чтобы они находились в готовности; Червеня не пустили в дом директора, где перед тем вспыхнуло волнение между шовдовцами, направленное против вас, которое старый Самуэль пресек, он был вынужден искать ночлега, но все Шовдово собралось там, где эти негодяи пили и выкрикивали здравицы в честь Заполы. Между прочими, узнал он и людей Заполы, и, оставаясь незамеченным, расслышал тайные разговоры запововских посланцев с Кокрхаем. Ну а потом, как я уже вам говорил, всем, что для меня свято, заклинал, чтобы я от вас ни на шаг не отходил, что я и обещал ему в память о вашем отце, вот почему старый Панкрац и по сию пору возле вас».

На этот раз Корвин выслушал поспешно произнесенные слова старца, ничего не ответил ему, но по всему видать, что не по нраву ему пришлось упоминание о брате, и особенно то, что даже находясь вдалеке, он проявляет заботу о нем; вот почему при последних словах Панкраца он обернулся и произнес: «Симко Шовда!»

Кокрхай подошел и поклонился.

«Пан Шовда, стройться!»

Кокрхай крикнул своим: «Равняйся, смирно!»

Корвин подозвал его к себе и говорит: «А знаете ли, пан Шовда, что это за люди к нам приближаются?»

Кокрхай опустил голову и гвоорит: «Знаю».

«И ручаетесь за своих людей?»

«Ручаюсь, при одном условии!» – ответил Кокрхай.

«И это условие?» – спросил князь, которому слова Панкраца тотчас припомнились.
«Уберите Панкраца из вашего эскорта».

Однако на разговоры не было времени. Корвин не знал, что за споры могли быть между его старым сторонником и его провожатыми, а разбираться не было времени, и только откровенно презрительный взгляд, адресованный Панкрацу, свидетельствовал, что предыдущее недоверие князя сменилось гневом.

Тем временем приблизились идущие от Попрада воины; белый флаг развевается на ветру. Эскорт Корвина построился в шеренги и замер.

Так встали друг против друга две враждующие стороны, запововцы и корвиновцы, однако встретились они без всякой страсти, без каких-либо проявлений горячей ненависти, так что тот, кто пару месяцев и даже пару недель назад видел этих людей беседующими, сейчас не узнал бы их. Обе стороны смутно ощущали, что наступила решающая минута, но ни одна сторона не знала, почему они оказались друг против друга.

Тут выступает из рядов запововцев старый Вербочи и, приблизившись к Корвину, говорит: «Именем его милости короля Владислава и по приказу пана Стефана Заполы, палатина Венгрии, спрашиваю вас, пан Корвин, князь Липтова, куда следуете вы с вашими вооруженными союзниками?»

«Именем его милости короля Владислава», – отвечает Корвин, – «кем бы ни были вы, и кем бы ни были вставшие на моем пути, я, Ян Корвин, князь Липтова, отвечаю, что вы не имеете права требовать от меня отчета в моих поступках, и потому советую вам, чтобы вы шли своей дорогой, где вам заблагорассудится, а мне моей дороги не преграждали!»

«Я, Стефан Вербочи, уполномоченный посланец его милости короля Владислава и пана палатина Венгрии Стефана Заполы, вас, Яна Корвина, именем короля и палатина торжественно призываю распустить своих людей, сдать мне свое оружие и предстать перед судом, чтобы держать ответ за вооружение и поднятие смуты в наших столицах!»

И едва он это произнес, прежде чем пан Корвин успел дать ответ, недоумевая, как смеет Вербочи называться королевским посланцем, из корвиновских рядов вырывается старый Панкрац, поднимает саблю над головой и бросается на ближайших запововцев. Вместо Вербочи упал его спутник, поспешивший его закрыть.

Запововцы словно только этого и ждали. Белый флаг был убран, а на его место выставлен красный; трубы заверещали, и весь запововский строй двинулся, и железной стеной стал надвигаться на спутников Корвина, которые выглядели гораздо сильнее.

Князь призывает в атаку, он встает в стремени, а его конь, гордый своим седоком, скачет сперва вдоль строя своих соратников, а затем галопом летит на неприятеля. Шовдовцы зарядили ружья, выстрелили в воздух, вытянули сабли, держат их в руках, но ни один с места не двинулся.

Не сражались они ни против Корвина, ни против Заполы. Но именно они были сегодня главной силой князя.

Бой длился долго. Ряды сторонников Корвина редели, и сам он, окруженный неприятелями, поспешил сказать Панкрацу: «Друг мой, ступайте и выводите наше войско из боя, теперь мы знаем, что делать с Заполы и с изменой». И угодил в плен к запововцам.

Вербочи крикнул: «Теперь, паны шовдовцы, можете получить то, что обещал вам пан Заполы; вперед на спишские города!»

И шовдовцы, подобно воронью, разлетелись грабить спишские города.

Так отомстил Кокрхай и Панкрацу, и Корвину, который знать не знал о его позоре.

XIV

Спишская Сobotа – один из тринадцати спишских городов, которые король Зигмунт передал Польше. Хотя он и является собственностью Польши, но расположен меж венгерских земель, и потому владетельные паны здесь частые гости, а горожане жили с оглядкой на Венгрию, ибо все эти городки – не более чем острова меж селами спишской столицы. А часто и так случалось, что владетельные паны в тех городах, хоть они и не подчиняются Венгрии, бесцеремонно и суд, и совет держали.

Пан Заполы, желая находиться рядом с событиями, в которых решалась его судьба, его будущее, хорошо знал о том, что его власть палатина распространяется только на земли, принадлежащие Венгрии, и все же расположился в Спишской Сobotе. Старое здание ратуши было его ставкой, откуда он и рассылал приказы частью в Липтов, частью к границе Польши, где уже находились корвиновские войска.

Высокомерный палатин, самый высокомерный из всех панов гордой Венгрии, распоряжался сейчас как король, и даже больше чем сам король: чего захочет, то и получит, чего ни пожелает, то и исполнится. Его друзья в Будине с помощью турок добились от короля новых полномочий, которые поставили крест на прежних замыслах Владислава, а вместе с тем и на противниках палатина, действующих в соответствии с прежними приказами Владислава.

Вот и засел он в Сobotе, и пребывал здесь в предвкушении победы и гибели своих противников.

Вдруг разнесся по городу шум. Палатин спросил о причине, и получил ответ, что это шовдовцы ворвались в дома горожан; улыбнулся он и сказал: «Оставьте их, пусть порезвятся, пока есть время», – не договорил, но с грустью подумал, что в его правление подобного уж точно не случилось бы, и подумалось ему, что вместе с этой причудливой толпой пришла и его победа.

Тут грудь его запылала, захотелось обнажить, облегчить ее горячим дыханием.

Открылись двери. Вошел Вербочи и тотчас, без приветствия, произнес: «С оружием в руках, в бою против нас и короля!»

Палатин понял его и ответил: «Тем лучше для нас, тем хуже для него!»

В это время дверь снова распахнулась. На пороге показался Корвин, князь Липтовский, безоружный, без эскорта сторонников, без силы и власти, хотя еще недавно тысячи сверкающих мечей готовы были по одному его слову разметать нынешнее неравноправие с главным его неприятелем.

Заполы нарочито не встал, не поприветствовал вошедшего так, как этого требовали его происхождение, титул и заслуги; знает, что он сейчас господин, а Корвин в его руках. И потому, даже не обернувшись на князя, спросил Вербочи:

«Пан Вербочи, довел ли ты послание его милости короля Владислава до пана князя Липтовского?»

«Довел!» – ответил Вербочи.

«Пан князь, несомненно, по королевскому приказу сложил оружие?» – снова спросил Заполы.

Вербочи ответил: «Я сказал его милости, чтобы он распустил своих людей, сложил оружие и держал ответ за возбуждение мятежа в наших столицах, в ответ получил пули и сабли. Пять десятков наших сторонников пало при этом замертво».

«Пан Корвин», – впервые обращаясь к Корвину, спросил Заполы. – «Чего заслуживает тот, кто вооруженной рукой действует вопреки королевским приказам?»

«Пан палатин», – ответил с достоинством Корвин, – «кто дал вам право говорить со мной от имени короля?»

«Смешной вопрос», – с улыбкой ответил Заполы, – «Кто, как не палатин, имеет большее право говорить от имени короля? И через кого передается его воля в вопросах войны и мира, как не через палатина?»

«Моя экспедиция предпринимается по воле короля», – сказал Корвин, – «и вы не имеете права ей препятствовать, действуя вопреки власти более высокой, чем ваша».

«И где же эта более высокая власть, чем моя? – Знаю, знаю, что вы думаете. – Вы были тайно направлены в Польшу, ни сейм не принимал на этот счет решения, как это делается всегда, когда Венгрия идет на помощь соседям, ни палатин об этом ничего не знал, хотя всему свету ведомо о том, что не только помощь людьми посылать, но даже переговоры с соседними монархами никто не смеет вести без ведома палатина, ибо кто же будет отвечать за то, что неприятель станет мстить нашей державе? – И тем не менее», – продолжал Заполы, – «чтобы вы не думали, будто Заполы способен поступать так же, как Корвин, вот вам королевский приказ». И, вытянув из-за пазухи бумагу, передал ее Вербочи, который прочитал:

«Мы, Владислав II, король венгерский, чешский и пр., этим нашим письмом уполномочиваем Стефана Заполы, палатина любимой нашей Венгрии, и приказываем ему войска, следующие на помощь Польше против союзника нашего, султана турецкого, всенепременно задержать, их предводителей, какого бы положения и имени они ни были, к роспуску своих людей и к сложению оружия призвать, об ответственности их предупредить, а в случае непослушания вооруженной рукой их замыслы пресечь, и от имени короля злоумышленников судить. Дано в Будине, в святки рождества благословенной Девы Марии, года от рождества Христова тысяча четыреста двадцать девятого. Владислав».

Князь онемел. Вербочи положил бумагу на стол, так что и королевскую подпись, и королевскую печать нельзя не заметить. Тяжело сердцу честного человека видеть не только крушение своих замыслов по вине людей безвольных, не твердых в слове, но и наблюдать смущение неприятеля, отводящего взгляд от его лица, охваченного гневом, болью и жалостью. Корвин огляделся вокруг, нет ли поблизости человека, который мог бы объяснить ему эту странную перемену; Заполы догадался о чем думает князь, чего ищет его взгляд, и произнес:

«Пан Корвин, не желаете ли получить объяснение от ваших друзей? Жаль, что Заполы не имеет чести принадлежать к ним, поскольку, как вам известно», – с легкой усмешкой продолжал он, намекая на союз своей дочери с Корвином, к которому он когда-то так стремился, – «ваш собственный отец не хотел допустить этого. И все же мы вам окажем услугу. Сегодня некий пан Штявинский спешил за вами вдогонку с посланием от Франкопанов, вы, к сожалению, уже обнажили меч и находились в руках моих людей, поэтому и Штявинского остановили мои люди, однако сейчас Заполы все же позволит вам выслушать послание».

Он махнул рукой, и в комнату был введен Штявинский. Видя перед собой обоих неприятелей, Корвина и Заполы, тот оторопел и остался стоять в дверях; однако Заполы, словно никогда его ранее не видел, произнес: «Извольте приблизиться и рассказать, что вы должны передать пану Корвину».

Штявинский протянул ему письмо от Франкопана.

Читая его, Корвин нахмурился.

Король Владислав был человеком безвольным, слабым; какая из сторон оказывалась сильнее, той и держался, в последнее время – заполовской, которая одерживала верх. В то же время он провел в Левочи тайные переговоры со своим братом, где они договорились о взаимной помощи; потому и направил Корвина на помощь брату, Яну Альбрехту, против турок, которые напали

на Польшу. Заполы молча наблюдал за происходящим, не теряя напрасно времени, не отступая от своих целей. Владислав полагал, что Заполы совершенно сражен, ничем не проявляя себя в деле, в котором палатин обязан принимать самое деятельное участие. Однако он просчитался. Заполы знал о каждом шаге и Владислава, и Корвина, но до поры не вмешивался, чтобы одним ударом сразить обоих, так полагая: «Подождите, и помощь в Польшу не пошлете, и себя погубите: Владислав потому, что страна сама потребовала мира, а он навесил ей на шею грозного неприятеля, а Корвин потому, что, желая добиться королевского престола, сам же возбудил в стране междуусобие. Меж тем Заполы дал знать туркам, с которыми находился в тайном союзе, об экспедиции Корвина в Польшу, и едва она началась, тотчас в Будине появились турецкие послы, пригрозившие Владиславу войной, если он будет помогать их противнику, и обещавшие ему и его стране мир, если он от всего устранился. Произошло то, чего и хотел Заполы. Владислав предпочел упрочить мир с турками, нежели послать помощь брату, поскольку своя рубашка ближе к телу. Тем самым он попал в объятия Заполы, друзья которого, тотчас поддержанные турками, стали единственными советниками Владислава, в то время как Франкопаны, Шекели, Гереб и другие сторонники Корвина, которые прежде верховодили в Будине, получили приказ своих сторонников, следующих в Польшу, вернуть, распустить и затаиться так, чтобы никто не узнал о их прежних замыслах. Так помощь, идущая к Корвину из Южной Венгрии и Хорватии, была распущена еще до того, как достигла границ Венгрии. Других вестей об этих обстоятельствах настигла в Силезии – и только Корвин ничего не знал о случившемся. Одному Богу ведомо, то ли ему так неспешно писали, то ли Заполы задержал в дороге Штявинского и вплоть до последней минуты не позволял ему вручить Корвину письмо от Франкопана, чтобы уничтожить и Корвина, и Владислава, который, если бы Корвин перешел границу, поневоле нарушил бы данное туркам слово.

Заполы был высокомерен, расчетлив, разбирался во всех интригах, и потому Бог знает, насколько он был замешан в опоздании сообщения корвиновского шурина.

Сейчас, глядя в окаменевшее, удивленное, застывшее лицо князя, он любовался его гневом, смущением, печалью. А когда достаточно на него насмотрелся, произнес:

«Ну, пан Корвин, поскольку мы узнали о нарушении вами королевских приказов, знайте, что у палатина Венгрии теперь нет более важной задачи, чем поставить вас перед судом за то, что, оказав сопротивление королю, едва не поставили страну у края пропасти, навесив ей на шею угрозу турецкого нашествия! А сейчас извольте следовать в Спишский замок, поскольку палатину Венгрии не пристало вершить суд на чужой земле.

Последние слова были произнесены с такой важностью и категоричностью, что даже ближайšie друзья склонили перед ним головы; сам Корвин стоял перед длинным столом неподвижно, в задумчивости. Заполы поднялся со стула, взмахом руки указав вести Корвина, но никто не двинулся с места, ибо знали, что значил этот жест у Заполы.

Он нахмурил лоб, обвел задумчивым взглядом своих гостей и закричал: «Ну так что, палатин Венгрии должен просить вас, чтобы вы выполняли его приказы?»

Все разом подскочили то ли от страха, то ли из уважения, то ли в силу обязанностей, и кинулись к Корвину.

Вдруг в прихожей поднялись крики и шум; дверь распахнулась и на пороге появился Червень.

Едва Вербочи дал знать шовдовцам о том, что обещанное Заполы находится в их руках, т.е. что они могут перетряхнуть сундуки и шкафы спишских горожан, те, словно воронье, тотчас разлетелись во все стороны. Немало пришло их и в Сobotу, поскольку заранее поделили меж собой города, чтобы один другому не стоял поперек дорогу и не мешал заниматься своим ремеслом – кроме того панам братьям из одной фамилии не к лицу было мешать друг другу там, где речь шла об обогащении и заработке. Вот так часть из них в полном порядке добралась до Сobotы. Тут соскочили они с коней, двух- трех оставили на страже и разбрелись по городу с визитами.

Визиты эти не доставили удовольствия жителям Собота, но что до того шовдовцам? Они земаны от рождения, а тут какие-то мещане, которые знать не знают о каких-либо распрях, заварухах, о военных экспедициях вплоть до турецкой границы, которые короля и в глаза не видели, не говоря уже о том, чтобы ходить с ним на охоту или говорить этому самому могущественному господину «пан брат» – и чем же, при таких различиях, могло обернуться их новое знакомство? Поначалу они подчеркнуто вежливо обходились с жителями Собота, словно бы те почли за честь, чтобы паны шовдовцы снизошли заглянуть в их шкафы и сундуки; но поскольку их «снисхождение» никто за честь принимать не хотел, но принимался называть их разбойниками, шовдовцы сменили позицию – расправляли усы, тарасили глаза, а если нужно было напустить страху, бряцали саблями так, что звон стоял по всей Собоце. Мужчины, конечно, были вооружены, ибо каждый год вынуждены были защищать и себя, и городские стены, но за городом никогда оружия не использовали; однако сейчас, ожидая дружественные корвиновские полки и так страшно обманутые в своих ожиданиях, они потеряли головы, и не знали, что предпринять, не умели по-мужски воплотиться панам братьям из Шовдова. Что касается женщин, те лишь кричали, призывали мужей и, где только могли, искали защиты от незваных гостей.

В разгар шума и криков примчался с кежмарской стороны всадник, седые обвисшие усы, голова понурена, а глаза, похоже, даже не видят, что вокруг него происходит.

На конский топот из крайнего дома выходит молодой мужчина высокого роста, с загорелым лицом и темными глазами, и кричит прибывшему: «Старик, что там, что?!»

«Все кончено, сын мой, все кончено!» – ответил пан Панкрац дрожащим печальным голосом. – «Говорил же я вам, чтобы оставили все интриги, всех поляков. Бей Заполы, а потом делай, что хочешь; но где там, вы мудрее, хотя едва обзавелись бородой, а я со своими советами недостаточно умен, хоть время и выбелило мою голову. А теперь посмотри, что в итоге!»

«Но, старик, старик, неужели разбиты наши войска?»

Старый Панкрац пожал плечами, покачал головой и грустно нерешительно ответил: «Ах, оставьте меня в покое! Между нами и нашими войсками стоят заповольские отряды, и пробиться к ним невозможно!»

«Тогда храни нас Бог, нас двое!» – говорит Червень, который до самой Собоцы следовал за экспедицией Корвина, чтобы через Панкраца, с которым постоянно время от времени встречался, советом в мперу своих сил способствовать успеху экспедиции. – «Нас двое, старик, а вдвоем мы не смеем позволить Заполы расправиться с Корвином».

«Да, сын мой! Да, пойдём и уничтожим Заполы, хоть вы и не соглашались это сделать!»

«Не так, старик, не так. Я пойду внутрь, а вы выведете Корвина из Собоцы, поскольку лучше ориентируетесь в этих краях, чем я!»

С тем они и отправились. Сделав несколько шагов, увидели там и сям снующих мужчин, кричащих женщин и плачущих детей. Червень спросил, что с ними, и получил ответ, что жители Собоцы впустили в город сопровождавших Корвина как друзей, а те их грабят, притесняют.

«Разве вы мужчины? Схватите их, свяжите и посадите в подвалы, пошлите гонцов к соседям, чтобы и они также поступали, и не бойтесь Заполы, у него здесь лишь несколько человек, а корвиновское войско скоро придет, чтобы вас освободить и наказать предателей!»

«Мудрый совет, мудрый совет!» – закричали несколько горожан, и все кинулись к домам. Через какое-то время стало в Собоце тихо.

Червень и Панкрац идут к ратуше, никто их не останавливает, ибо каждый думает, что к Заполы так смело могут идти только его приятели; никто их не узнал, а кроме того стражники имели распоряжение без задержки впускать любого гонца, пришедшего от границы, где стояли и Корвиновские, и заповольские войска. Червеня и Панкраца приняли за тех гонцов. И только в прихожей перед главной комнатой, узнав Панкраца, заповольцы подняли крик и шум, который и услышали внутри.

Едва Заполы встал, желая увезти Корвина с собой в Спиш и там учинить над ним суд, в дверях появился Червень. Заполы устремил на него ястребиный, а Корвин – удивленный взгляд;

каждому было известно, что Червень с Корвином находятся в ссоре, и потому никто не знал, пришел ли он им помогать или Корвина выручать.

Червень, видя перед собой обоих, вздрогнул. Лицо его овеяно спокойствием и печалью, он устремляет свой взгляд на Корвина и тихим, проникновенным, преисполненным чувства, дрожащим голосом говорит: «Ступай, брат мой, иди и живи!»

Панкрац хватает Корвина за руку и силой выводит его вон из комнаты.

Все это произошло мгновенно.

Заполы нахмурился, громовым голосом закричал на своииз людей: «И вы на это смотрите?»

Все бросились к дверям. Но Червень встал у них на пути и кричит: «Ни шагу! Только через мой труп!»

Паны повытягивали сабли и скопом набросились на одного, однако и в одиночку тот отражал все атаки, все удары неприятельской стали, пока не уверился, что брат его освобожден.

Корвин с Панкрацем сели на приготовленных коней и галопом помчались прочь.

Червень – уставший, забрызганный собственной и чужой кровью, – в последний раз кинулся на скопище врагов, но он сознает, что освободил брата, вернул его миру и корвиновскому роду, что доказал ему свою преданность – и потому легко у него на сердце.

Заполы скрипит зубами, хмурит брови и кричит на своих: «Не хватало еще, чтобы и этот у вас ушел! Клянусь Богом, десять голов падет, если это случится!» С тем и удалился, не отдавая дальнейших приказов; а его люди уже по собственному разумению взяли Червеня в Спиш.

XV

После этого происшествия минуло всего лишь несколько дней, а сколько событий произошло. Корвин позаботился о своих сторонниках и, не желая навредить ни себе, ни стране, несмотря на отряды Заполы, которые отсекали войско Корвина от Венгрии, распорядился, чтобы они, в полном соответствии с королевским приказом, вернулись назад. Для Заполы было очень важно, чтобы эти войска прибыли в Польшу, во-первых, потому что король был бы вынужден осудить Корвина; во-вторых, потому что турки напали бы на Венгрию, а на место Владислава, как ему думалось, посадили бы его. О меньшем пан Заполы и думать не желал.

Однако его расчеты не оправдались, а коварным планам не суждено было сбыться.

Корвиновцы вернулись назад и разогнали слабые отряды заповцев. От их руки в спишских городах, как предатели князя и всей страны, погибли шовдовцы, а в Липтове их милое Шовдово, это старое земанское село, было разгромлено, сожжено и сведено «на нет». Лишь старого Самуэля взял с собой Панкрац, он один-единственный избежал смерти.

Ненависть против Заполы, в тысячу раз большая, чем прежде, подобно ревущему потоку разлилась по Северной Венгрии.

Впрочем, что до того палатину? Он не ждет любви и не боится гнева, но раздосадован, что его столь тщательно подготовленные планы, связанные с экспедицией Корвина, нарушены. Едва только подумает об этом, аж зубами скрежещет, как и всегда, когда в его груди разливается гнев, и грозит виновнику всего этого – Червеню. Однако он не утратил надежды на то, что цели своей достигнет. Сейчас Владислав лишен всякой опоры в стране, поскольку Корвин ему помогать не станет, турки его бессилию рады, и потому Заполы поступит с ним так, как ему понравится. – Стало быть, он должен без промедления спешить в Будин, пока корвиновцы не обработали слабого короля; чтобы он мог продемонстрировать свою власть и отмщение – Червень должен умереть.

Этим замыслам и предался палатин: Вербочи, как и всегда, – его главный сподвижник. Вдвоем они подолгу размышляют, подолгу беседуют, так что палатин едва поприветствовал дочь свою Мариенку и сестру Анну, которые возвратились из Мурана домой.

Именем короля и палатина Вербочи в Спишском замке вершил неспешный суд над Червеном, братом Корвина, поскольку Заполы был слишком высокомерен, чтобы самому судить человека, уступающего ему положением, именем и заслугами. Все свершилось так, как и хотел Заполы. За измену Червень был осужден на смерть.

Печальную картину представлял собой Спишский замок. Посреди двора установлен помост; по округе разнеслось, что будет обезглавлен знатный господин, член славной корвиновской семьи Червень, и в замок со всей округи сошлась толпа людей, большей частью панов-земанов из заповского лагеря. На помост вывели красивого юношу. Черные волосы ниспадают по обнаженной шее подобно тому, как курица прикрывает своих деток от опасности, лицо его бледно, ибо много крови вытекло из ран, причиненных в Спишской Сободе, а сверкание черных глаз подобно не солнечному свету, не блеску драгоценного камня, а скорее слабющему огню лампы, в которой догорает масло. Легкая улыбка гает его уста подобно ветерку прекрасного

майского дня, явившегося в результате борьбы утреннего тепла с холодом ночи, он распрямил свой стан, сразу как бы прибавив в росте, и его прекрасный вид, не гордый, но значительный и ясный взгляд очаровали присутствующих, так что не один из них с сожалением вздохнул о том, что такой прекрасный юноша, такой известный и мужественный земан должен погибнуть.

Палач взошел на помост, и когда поднял широкий меч, Заполы, стоя в окне замка, позвал: «Идите, дети, посмотрите – так Заполы мстит своим врагам!».

Палач взмахнул мечом, поток алой крови ударил из юношеского тела; сбоку от Заполы раздался болезненный вскрик, а когда из такого прекрасного, очаровательного горла вырывается такой крик, будьте уверены, что в его звуке отозвалась последняя боль, что это сердце больше не будет терзать ни боль, ни близенство. Мариенка лежала у ног своего отца. – Последние отзвуки жизни помелькнули в ее сознании; пришла, бедняжка, в Спиш, чтобы умереть со своим возлюбленным...

А когда наступило всеобщее оцепенение, к помосту приблизился седовласый старец; усы его сотрясались от боли, глаза его заливали слезы, а на лице видны следы прожитых лет, видна боль, но видно и то, что никогда его взволнованная душа не чувствовала сильнее, чем сейчас. Это был Панкрац, который любил Червеня как зеницу ока. Дознавшись об отправлении Червеня, он устремился в Спиш чтобы освободить его или с ним умереть. Добрался наконец – как жаль, что слишком поздно. Он подошел к помосту, намочил белый платок в крови своего друга, спрятал его за пазуху, посмотрел вверх на небо и молча, без слова, без вдоха, ушел.

Заполы надменно и задумчиво смотрел вниз, стоя со скрещенными на груди руками – так он увидел смерть одного из членов корвинова рода; и в то же время он услышал вскрик своей дочери, посмотрел на сестру и на женщин, сточвших рядом, и сказал: «Позаботьтесь об этой безумной девушке, в жилах которой настолько недостает заполовской крови, что ее трогает смерть врага ее семьи!»

Увы, не понял он величия души своего дитя – суровый воин, он и не знал о том, что существуют хрупкие движения сердца. Тайны любви и ее чародейские движения сокрыты от глаз самого обычного, черствого человека.

И потому, глядя задумчивым взглядом на Вербочи, он сказал: «Теперь – в Будин, Вербочи. Вместе».

Они вышли из комнаты. И когда держали совет в кабинете Заполы, где палатин привык работать, медленно отворилась дверь, и на пороге появился старый Панкрац, который, подобно призраку, не шелохнувшись смотрел на Заполы, своего врага, словно бы не спускал взгляда с причины своего прихода – палатиновой души.

Заполы поднял голову, удивился, вскочил, топнул ногой и закричал: «Что это?»

И Панкрац медленно, словно это и не был тот старый, неугомонный человек, сказал: «Это кара Божья, Заполы! Сегодня ты пролил невинную кровь, и она взывает отмщения у Бога! – Готовься к смерти, Заполы!»

Заполы жалко улыбнулся.

«Готовься к смерти, Заполы», – вновь произнес Панкрац, – «хотя твоя черная кровь и не смоеет невинную кровь моего друга!»

И с этими словами он вытянул из-за пазухи штык; Вербочи набросился на него, но поздно – железо уже воткнулось в грудь палатина.

Панкрац холодно пробормотал: «Что заслужил, то и получил, черту служил, черт тебя и взял», – и спокойным шагом ушел из Спиша.

Произошло это в конце сентября 1499, в седьмой год палатинства Заполы.

После смерти Заполы корвиновцы стали поднимать голову. В январе 1500 года большой мятеж был занесен белыми снегами, и паны земаны со всей страны сошлись провозглашать палатина. Провозгласили Петра Гереба, сторонника корвиновской партии. На съеме нашли разрешение все споры между панами Северной Венгрии.

Старый Шовда Самуэль, единственный оставшийся в живых из своего рода, получил назад Швонявы; однако, удрученный позорной гибелью своего рода, он ушел в монастырь, а имущество свое подарил капитуле.

Мраз был утвержден каштеляном Склабина.

Замборр был возвращен Корвину.

Могущество Заполы было пресечено. После покойного палатина осталось трое детей: Ян, Юр и Барбора. А Мариенка? Она встретила со своим возлюбленным в стране вечности.

Корвин жил в Хорватии. Герерб, Франкопановцы, Шекели и другие приятели едва ли не силой понуждали его действовать заодно с палатином, прежде всего, стать независимым князем Липтова, а потом и господином всей страны; однако душа его была окутана печалью, слова Червеня: «Иди, брат мой, иди и живи!» – постоянно звучали в его сознании, и всюду вставал перед мысленным взором образ брата, его великодушное самопожертвование, и потому все попытки приятелей он пресекал неизменным вердиктом, что дело это не получит благословения. В Липтов он так никогда и не вернулся, но сделал старого Панкраца комендантом Липтова, умер в возрасте тридцати пяти лет в Лепоглаве в Вараждинской столице 12 октября 1504 года, в том самом Лепоглаве, откуда происходили известные Кружичи. А старый Панкрац – он долго еще вспоминал времена короля Матиаша и постоянно повторял своим друзьям, особенно когда возникали споры между родными братьями: «Верте друг другу, не дайте сплетням завязаться, и Бог вас благословит, поскольку раздоры приносят лишь гибель и смерть!»